

ГЕНРИ ЛАЙОН
ОЛДИ

Дьявол прячется в мелочах

НЮАНСЕРЫ

Генри Лайон Олди

Нюансеры

Авторский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43060317

ISBN 978-5-389-16813-8

Аннотация

Константин Алексеев, известный промышленник и актёр-любитель, приезжает в губернский город Х. Здесь умерла старая гадалка Заикина, которая ни с того ни с сего завещала Алексееву свою квартиру. В день приезда также происходит загадочное ограбление банка: убит кассир, убийца скрылся. На квартире Алексеева уже ждут, и с этой минуты ни одна мелочь, ни один нюанс не окажется случайностью, пустым совпадением.

Ах да, еще один пустяк: на дворе подходит к концу XIX век.

Новый роман Г. Л. Олди историчен и фантастичен одновременно, насквозь пронизан реалиями времени и вечными проблемами. Маски прирастают к лицам, люди, события, вещи – всё выстраивается в единую мизансцену, и если хорошенько аплодировать после того, как дали занавес – актёры, может быть, выйдут на поклон.

Содержание

Пролог	6
Глава первая	12
1	12
2	19
3	26
4	34
Глава вторая	42
1	42
2	54
3	65
Глава третья	71
1	71
2	80
3	88
4	96
Глава четвертая	101
1	101
2	113
Конец ознакомительного фрагмента.	118

Генри Лайон Олди

Нюансеры

Подробности – главное, подробности – Бог.
И. В. Гёте

Дьявол прячется в мелочах.
Поговорка

Всё персонажи являются вымышленными. Любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно. То же касается упомянутых периодов времени, топонимов и предметов домашнего обихода. Книга написана на собственной фантазии авторов. Не содержит богохульств. Одобрена цензурой.

Действующие лица

(живые и усопшие)

Заикина Елизавета Петровна, гадалка, в прошлом актриса.

Лаврик Иосиф Кондратьевич, её правнук, служащий банка.

Лелюк Неонила Прокофьевна, вдова, приживалка.

Лелюк Анна Ивановна, её дочь.

Алексеев Константин Сергеевич, фабрикант, актёр-любител.

Алексеев Георгий Сергеевич, его младший брат.

Суходольский Михаил Хрисанфович, он же Миша Клёст, грабитель и убийца.

Ваграмян Ашот Каренович, сапожник.

Кантор Лейба Берлович, без определенного рода занятий.

Радченко Любовь Павловна, костюмерша в театре.

Воры и бандиты: Костя Филин, Ёкарь, Гамаюн, Лютый.

Янсон Александр Рафаилович, нотариус.

Граф Капнист, предводитель губернского дворянства.

Никифоровна, старуха.

Никифор, могильщик.

Вознесенская Ольга, вдова.

Никита, её сын.

Черкасский Семён, извозчик.

Попутчики, городовые, мещане, водяные, карлы, носильщики, дворники, общительные мертвецы, ямщики, преступный элемент, портье, кассиры, фавны, официанты, пьяницы, феи, купеческие дочери, призраки, театральные деятели, фельдшеры, обитатели воспоминаний и др.

Пролог

– Да ты что, матушка! Не умирай!

– Благодетельница!

– Живи сто лет!

– Цыц, кликуши! – рассердилась Заикина. – Не сегодня помру, небось. Чего раскудахтались? А как придёт срок, так кричи, не кричи, ничего не изменится. Живи сто ле-е-ет!

Она так ловко передразнила приживалок, что те рты пораскрывали. С недавних пор Заикина актёрствовала мало – и в театре, куда её, случалось, звали на роли комических старух, и дома, в охотку, под бодрое настроение, которое приходило к Елизавете Петровне всё реже и реже. Приживалки уже и не помнили, когда такое случалось в последний раз.

– И сколько мне по-вашему, куриному, до ста осталось? Три завтрака да пять обедов?!

– Матушка!

– Что ж ты себя заживо хоронишь?

– Хоронить не хороню, – рассудительно произнесла Заикина, беря третий кусочек колотого сахару и обмакивая его в крепчайший, кирпичного цвета чай. Родилась сладкоежкой, говаривала она любопытствующим, сладкоежкой и к богу на поклон отправлюсь. – А подготовиться к этому делу каждому на пользу. Одни деньги копят, чтобы родственников в расходы не вводить. Другие грехи замаливают, обеляют

душу перед кончиной. Храмам жертвуют, нищих привечают. Вот и я готовлюсь, как умею. Оську только жалко, пропадёт без меня. Оську жалко, Осеньку...

Приживалки как по команде вытянули шеи. Заикина расположилась за столом вольготно, по-хозяйски, приживалки сели напротив, плечом к плечу, вжавшись друг в друга, на краешках стульев. Стол без труда принял бы еще человек десять, вздумай те почаёвничать на сон грядущий, но казалось, что приживалок из милосердия пустили в большую шумную компанию, выделив на двоих места с полмизинчика.

– Осеньку? – изумилась старшая.

Шмыгнула носом, выпучила глаза:

– Да чего же его жалеть, Иосифа Кондратьевича? Мужчина молодой, видный, в банке кассиром служит. Чай, ни в какой каше не пропадёт, ни в пшённой, ни в гречневой. Не с чего ему пропадать. Вот женится, возьмёт за себя девку красивую, с приданым. Детишек настрогает, пойдут у вас праправнуки...

– Не доживу, – отрезала Заикина.

Высокая, статная, сильно располневшая после шестидесяти, она носила свой вес, как и годы, легко, с горделивой осанкой царицы. После шестидесяти? Боже, как давно это было! Уже и не вспомнить...

– Матушка! Живи!

– Пей чай и помалкивай! – укоротила Заикина старшую приживалку. Младшая и без того молчала, прикусив ниж-

нюю губу. – Не твоего ума дело! Если говорю, что Осеньку жалко, значит, цыц! Молчи и жалеяй, поняла?

Приживалки мелко закивали.

– Чай, – угодливо согласилась старшая. – Пьем и помалкиваем, матушка.

– Осеньку ей жалко! – Заикина всё не могла успокоить-ся. – Мне, что ли не, жалко?

Она уже и забыла, что жалко правнука было ей, а вовсе не приживалке. Приживалка, напротив, утверждала, что Иосифа Кондратьевича жалеть не с чего, но кого это сейчас интересовало?

– Осеньку жалко, себя жалко, а сервиза жальче всех. Чашки, блюда, сахарница... Побьёте, небось, без меня! Вот говори: побьёте, а? Правду говори!

– Не побьём, матушка!

– Ан побьёте!

– Пуще глаза беречь станем!

– Пуще глаза, – прошептала младшая, бледная как мел. Шёпот был для неё, молчуньи, подвигом. – Христом-богом клянусь, пуще.

– Не клянись! – без злобы, для порядку велела Заикина. – Ибо сказал Господь: «Не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий...»

Голос её окреп, утратил старческую хрипотцу:

– «...ни землёю, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя...»

Приживалки захлопали в ладоши. Знали, мерзавки, что хозяйке по душе.

– «...ни голову твою не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным!»

– Bravo, матушка!

– Bravo!

– Актёрка, как есть актёрка! Наипервейшая!

– Актриса, – поправила Заикина, отдуваясь. – А сервиз всё едино побьёте, заразы..

Чайный сервиз на девять персон был гордостью Заикиной. Приживалкам не возбранялось пить из тонких, воздушных, украшенных бледно-сиреневой росписью чашечек, им даже разрешалось брать колотый сахар из пузатой сахарницы, но делать это следовало без торопливости, с почтением, бросая восхищенные взгляды на благодетельницу. Сервиз Заикиной подарил никто иной, как заводчик Кузнецов. «Матвей Сидорович самолично!» – говаривала Заикина, когда была в духе, и картинно всплескивала руками. Тридцать лет назад Кузнецов арендовал фаянсовую фабрику купца Никитина в селе Байрак, арендовал да и плюнул всердцах: расходы на гужевой транспорт съедали доходы, что твой пёс – колбасные обрезки. Шло время, лихое убыточное время, и кто-то надумил Кузнецова обратиться к Заикиной. Старуха раскинула карты – так, как умела во всей губернии только она – и велела заводчику перебираться с хозяйством и работниками в иное село. Какое, спросил Кузнецов. Бүды, ответила Заики-

на. Буды, что на реке Мерефе. Видишь трёфового короля? Ну вот, а рядом с ним семёрка бубён. Буды, и хватит об этом. Сказать по правде, Кузнецов нисколючко не понимал, зачем ему менять шило на мыло, но совета послушался. Выкупил Котляровскую винокурню, перенёс производство в Буды. А спустя два года через Буды легла железнодорожная ветка, и с того момента Кузнецов на Заикину мало что не молился. И заплатил с лихвой, и бесплатным фаянсом снабжал исправно. Когда в позапрошлом году фабрика освоила фарфор – прислал сервиз с поклоном.

– Значит, так, любезные мои...

Заикина любовалась чашечкой истово, не отводя взгляда. Словно знала, что больше не увидит ни чашечку, ни сервиз, ни света белого. Лицо гадалки сделалось серьёзным: дальше некуда. С таким лицом Клеопатру играть – вот корзинка, в корзинке аспид, и срок пришёл класть змею на молодую грудь.

– Слушайте мою последнюю волю. Слушайте, запоминайте, исполняйте. Не исполните – из могилы вернусь. Зубами загрызу, кровь выпью. Вы меня знаете...

Приживалки знали. Слушали, запоминали.

– Ой, матушка, – захлебнулась старшая. – А с нами-то что будет?

– Исполните – всё будет хорошо. Не обижу вас, пустомель.

– Ну да, ну да, – бормотала старшая. – Всё хорошо, лучше лучшего.

Было слышно: не верит. Боится. А больше того боится возразить, пойти поперек. С таких женщин художники пишут евреек накануне исхода из Египта. Оно, конечно, впереди земля обетованная, течёт молоком и мёдом. Да только сперва впереди Чёрное¹ море, пустыня и сорок лет хождения от бархана к бархану. Мёд ещё когда, молоко после дождичка в четверг, а ноги по песку бить прямо сейчас надо.

Дойдём ли до обетованной? Доживём?

¹ Чёрное море – церковно-славянское «Красное море». Воды Чёрного моря расступились и пропустили Моисея с еврейским народом во время Исхода.

Глава первая

«Как пряму ехати – живу не бывати»²

1

«Ужасно! Ужасно! Зачем глаза мои видели это?!»

Губернский город Х встретил Алексеева метелью.
Нет, так нельзя.

Начнем иначе, из затакта.

Занавес уже открылся, но сцена тонет в сумраке и тишине. Никто никуда не приехал, никто никого не встретил. Лишь громыхают колёса на стыках, потому что театральная тишина выражается не молчанием, а звуками. Если не наполнить тишину звуками, нельзя достичь иллюзии. Стучат колеса, белый луч шарит в пустоте, отыскивая жертву. Время топчется на месте, покашливая в кулак, а пространство наполняется не страхом, но тревогой и ожиданием.

Вот. Так правильно.

² Надпись на камне. Картина В. Васнецова «Витязь на распутье».

В попутчики Алексееву достался инженер-путеец: вот ведь каламбур! Был он человек пьющий и крайне словоохотливый, что сделало поездку нескудной, но чуточку обременительной. Для себя Алексеев назвал бесконечный монолог путеяца на манер литератора Тургенева, подмешав толику баснописца Крылова: «Отцы и дети, или Овцы и щуки». Овцами, как теперь он знал доподлинно, хоть экзамен сдавай, в профессиональном кругу назывались паровозы серии «О». Щуки же, они же паровозы серии «Щ», ещё только разрабатывались учёными мужами, но имели богатейшую – «ей-ей, богатейшую! Ну, ваше здоровье!» – перспективу.

– А вы-то, – между делом вспомнил путеец о вежливости. – Вы-то сами, позвольте полюбопытствовать, кто будете?

– Канительщик, – улыбнулся Алексеев.

– Кто-кто?

– Канительщик. Золотое и серебряное шитьё.

– Хорошее дело. Прибыльное?

– Как когда.

– Хорошее дело, – повторил путеец, дыша коньячным перегаром. – Мундиры там, или ризы епископские... На чем государство держится? Армия и вера, точно вам говорю. Ну, ещё железные дороги.

И вернул разговор к возлюбленным паровозам.

За окном косым занавесом валил снег. Мелькали станции и полустанки, черные остовы деревьев, горбатые косогоры. На перронах бабы, замотанные платками поверх вытертых шубеек, торговали нехитрой снедью: пироги с картошкой и луком, жареные куры, соленые огурцы. Носили и самогон. День валился под гору, к вечеру. Белая пордьша превращала баб в снеговиков с красными огрызками морковок вместо носа. Смотреть на них было зябко: в поезде топили, но воображение доводило пассажиров, глядевших в окна, до натурального озноба. Алексеев поздравил себя с тем, что чудом или попущением Господним взял билет в «синяк» – вагон первого класса. Окрашенные в синий цвет согласно распоряжению министерства, эти вагоны несмотря на их дороговизну заполнялись первыми, билетов всем желающим не хватало. Случалось, графам и тайным советникам доводилось ездить во второклассных «желтках», а то и в «зеленцах» третьего класса – что было, как писал некий господин, пострадавший от билетной лихорадки, «неудобно, но душевно приятно и поучительно.»

Неудобно, подумал Алексеев. И душевно неприятно

Всё складывалось чёрт знает как с самого начала. Безумная новость, которая сорвала его с места, украла от дел и событий; вынужденная поездка, подарок, обернувшийся подвохом; март, до ужаса похожий на февраль. Лютый, говорят в здешних краях. Вот уж точно что лютый! Обстоятель-

ства сложились в громоздкий кукиш с жёлтым обгрызенным ногтем, и кукиш этот мерещился Алексееву за каждым углом. Скверная пьеса, а ты, братец, – комический простака, волей драматурга затесавшийся в головоломную авантюру. Чужое, не свойственное тебе амплуа, но занавес открылся, дали свет, и хочешь, не хочешь, а играй до самого финала.

Последний раз такое же смущение он испытывал в юности, играя французский водевиль в трех актах. Актёр-любитель, Алексеев скрывал от семьи свой *adultère*³ с театром и едва не упал в обморок при всей почтенной публике, когда завитой, расфранченный, он вылетел на сцену с огромным букетом наперевес – и увидел в центральной ложе отца, мать и старую гувернантку, нянчившую его с колыбели. После спектакля гувернантка рыдала на груди у матушки: «Никогда, никогда я не думала, что наш Костя, такой чистый молодой человек, способен публично... Ужасно! Ужасно! Зачем глаза мои видели это?!» Отец же, сдержав гнев, огласил приговор: «Если ты непременно хочешь играть на стороне, то создай себе приличный кружок и репертуар. Но только не играй всякую гадость бог знает с кем!»

– Простите, ради бога, – прервал его воспоминания путеец. – Понимаю, что чрезмерно любопытен, но всё-таки... Сколько вам лет, милостивый государь?

– Тридцать четыре. А что?

– Да ничего, просто спросил. Смотрю на вас всю доро-

³ Адюльтер (*фр.* Adultère) – супружеская измена, неверность.

гу и, представляете, не могу в толк взять: каких вы лет, а? Так гляну – вроде молодой человек. Эдак гляну: нет, старше. Улыбнетесь, так и вовсе юноша. Задумаетесь, и опять состарились. Освещение шалит, что ли?

– Я рано начал сесть, – объяснил Алексеев. – В сочетании с темными бровями и усами это даёт своеобразный эффект.

– Выпить не хотите?

– Нет, спасибо.

– Рюмашечку, а? Для здоровья?

– У меня слабое сердце.

– Врачи рекомендуют! Есть у меня знакомый хирург, так он без графинчика не оперирует...

– Мне не рекомендуют, спасибо. И потом, я не хирург.

– А кто же вы?

– Канительщик.

– Ну да, вы говорили. Запомятовал, извиняюсь.

Зря это я, подумал Алексеев. Надо было согласиться. Алкоголь успокаивает нервы.

– Я закурю, если вы не возражаете?

– Разумеется, голубчик! Курите, сколько душе угодно!

Распечатав пачку «Ферезли», Алексеев закурил и начал перекладывать тонкие и длинные папиросы из пачки в серебряный портсигар. Без этого можно было и обойтись, но вид человека, занятого делом, слегка угомонил общительно-го путейца. В пачке обнаружился листок с предсказанием – этим сейчас баловались многие производители табачных из-

делий. «Время – ваш союзник, – прочёл Алексеев, морщась от дыма. – Лучше отложить принятие важного решения хотя бы на день.»

Да, кисло усмехнулся Алексеев. В яблочко.

Он откладывал важное решение со дня на день. Если бы не поездка, свалившаяся как снег на голову, он бы уже принял это решение, похожее на выбор самоубийцы между пистолетом, ядом и веревкой. Последняя папироса смертника? Табачный дым, хоть всю пачку разом выкури, не успокаивал, а лишь добавлял горечи в сложившуюся ситуацию.

«Конь вздрогнул, и сильнее витязь возмутился, – пелось в известном романсе. – В милый край, в страшный край как стрела пустился...»

С недавних пор Алексеев ощущал себя былинным витязем на распутье трёх дорог. Да-да, тем самым, знаменитым, кисти живописца Васнецова. Отдав финальный вариант картины в коллекцию Саввы Мамонтова, промышленника и мецената, близкого друга семьи Алексеевых, Васнецов отметил в письме к критику Стасову: «На камне написано: «Как пряму ехати – живу не бывати – нет пути ни прохожему, ни проежему, ни пролетному». Следующие далее надписи: «направу ехати – женату быти; налеву ехати – богату быти» – на камне не видны, я их спрятал под мох и стер частью.» Алексеев со всей искренностью завидовал простоте живописного подхода к главному вопросу своей жизни, можно сказать, вопросу жизни и смерти. Две надписи из трех стёр, и как

не бывало! А тут вертись в седле, чеши затылок: «Направу ехати – женату быти. Налеву ехати – богату быти. Как пряму ехати – нет пути ни прохажему, ни проезжему...»

В случае с Алексеевым прямая дорожка, которая «уби-ту быти», означала издевательское «знамениту быти». Фабрики, семья и театр – три коня рвали его на части. Камень, лежащий на треклятом раздорожье, следовало украсить еще одной надписью: «На месте стояти – в дураках быти.» Остаться на месте для Алексеева значило продолжать тянуть три лямки сразу – мучаясь, срывая сроки, крутясь белкой в колесе, страдая бессонницей, доводя себя до сердечных приступов и в итоге оставаясь виноватым перед всеми сразу.

Савва Мамонтов говорил Алексееву, что в начальных эскизах картины витязь был повернут к зрителю лицом, а главное, перед ним лежали дороги. В последней версии живописец развернул витязя боком, чтобы не сказать, задом, а дороги вопреки всякой логике убрал к чёртовой матери – якобы для пущей эмоциональности, чтобы зритель видел: у витязя нет другого выхода, кроме указанного на камне: «Живу не бывати». Камень, глухая степь, череп человеческий и лошадиный, да ещё чёрный ворон в низком вечернем небе.

Как мизансцена – потрясающе.

Как жизненная перспектива – отвратительно.

2

«Вы только не стреляйте!»

Костя Филин в сотый раз глянул на ступеньки банка – так, искоса, краем глаза. Подступал вечер, в мутном, исхлѣстанном метелью сумраке ничего не разглядел бы и настоящий, лесной филин. Боясь проморгать сигнал, Костя развернулся к банку лицом, и колючий снег мигом втиснулся за воротник кожуха, морозными иглами ожѣг щѣку, набился в ухо и начал, сволочь, подтаивать. В ухе заворочался липкий и холодный слизняк. Костю передѣрнуло, он выругался сквозь зубы, выпростал наружу толстый вязаный шарф и упрятал в него всю нижнюю часть лица. Шарфа хватило и на много-страдальное ухо. Ну вот, другое дело, жить можно.

Долго они там ещё?

Бокòв⁴ у Филина не было, но он поклялся бы, что торчит возле банка уже битый час – хотя на самом деле не прошло и тридцати минут. Зря стою, решил Костя. Уже давно бы управились и водкой грелись. Ветошником⁵ больше, ветошником меньше – какая, к чёрту, разница?

Дверь распахнулась. На ступеньки упал жѣлтый прямо-угольник яркого *электрического* света, и в метель шагнул

⁴ Бокò – часы на блатном жаргоне («фене») XIX – начала XX в.в.

⁵ Ветошник – человек, не принадлежащий к преступному миру.

потешный фраерок в мохнатой лисьей шубе, круглых очочках и профессорской шапке «пирожком». Фраерок взмахнул рукой, подзывая извозчика, открыл было рот – и метель с изуверской радостью влепила туда добрую пригоршню снега. Костя сдавленно хмыкнул в кулак: а не разевай хлебало! Фраерок с возмущением отплевался, замахал обеими руками, что твой ветряк. Минута, другая, и рядом остановился извозчик.

На Николаевской площади их хватало.

Едва сани уехали, дверь банка приоткрылась снова. Наружу высунулся Ёкарь. Завертел кудлатой цыганской головой, призывно вскинул могучую ручищу, словно тоже жить не мог без извозчика. Костя отлепился от стены. Ну, сказал он себе, делу время, потехе час. Долго запрягали, быстро поедем.

Паберегис-с-сь!

* * *

С разных сторон к банку уже спешат остальные, ждавшие, как и Филин, отмашки Ёкаря. Один поскальзывается, падает, но тут же вскакивает, отряхивает снег с тулупа, ковыляет ко входу. Утка, чистая тебе утка на льду! Хихикая, Костя выцепляет взглядом Гастона, которого втайне зовёт Гастритом. Про такую болезнь Филин слышал от студента-медика, лечившего сестру Дуняшу от маяты в желудке. На доктора

с дипломом и в очочках, как давешний фраерок, у Кости не было *грòшей*, на Александровскую больницу, что на Тюремной площади (тьфу-тьфу-тьфу, не про нас будь сказано!) – тем более, даром что лазарет для малоимущих. А студент к Дуняше неровно дышал и душу бы сатане продал, лишь бы пощупать девку на законных основаниях. Ох, эти *грòши*! Вечно их нет, когда надо. Родители Филина сгорели при пожаре, когда у Кости ещё усы не росли, а Дуняша и вовсе под стол пешком ходила. Бабка загоревала да и померла следом. С тех пор сестра оставалась на попечении брата, готового зарезать всякого, кто на Дуняшу косо глянет. Девка видная, добрая, хозяйственная, жаль, здоровьем удалась в дохлого воробья: что ни съест, рёзьями мается, а то и блюёт. Из-за неё Костя и в жиганы пошёл, чтобы червонцы рекой. Пойти пошёл, только на серьёзные дела его не брали, брезговали, дразнили маломерком и дурьей башкой. Один Гастон, добра ему полные руки, сжалился. Теперь заживём! И *грòши* будут, и студент Дуняшу за себя возьмёт, в церкви повенчаются, хату на Москалёвке поставят, нарожают Филину племянников, старшего Гастоном назовём...

Есть в святцах такое имя – Гастон? Наверняка есть, как не быть...

В присутствии Гастона у Кости без видимой причины сводит живот: Гастрит, натуральный Гастрит! Есть в нём что-то, от чего мурашки по хребту. За версту видно, гастролёр. Так Гастрит и не скрывает: из серьёзных, не чухня, ясен пень.

Дело стоящее предложил, и ведёт себя путём, с уважением...

В овчинном кожаном, как и Филин, надвинув шапку-ушанку на брови, Гастон-Гастрит ждёт у дверей, пропускает всех внутрь. Нет, не всех: сам входит четвёртым. Филин вваливается следом, на ходу достаёт из кармана нагретый в ладони «Smith&Wesson». Револьвер взяли с убитого фараона – валил околоточного надзирателя не Костя, Костя только купил оружие с рук за тридцатку, и ещё патронов на шесть рублей сорок копеек. Револьвер тянет руку, в низу живота возникает предательское верчение – да что ж такое, в самом деле?!

Со злым щелчком Костя взводит курок, и живот отпускает.

– Работаем!

Сапоги гулко топают по ступеням, застеленным бордовой ковровой дорожкой. Оставляя за собой оплывающие кучки снега, налётчики взбегают на второй этаж. Навстречу суётся усатый хрен в заношенном, но ещё чистом мундире унтер-офицера. Его с ходу прикладывают рукояткой по кумполу, и сторож «уходит в тёмную», обмякнув в углу.

– Руки вверх! Это налёт!

Ёкарь не подвёл: в зале нет ветошников, только четверо банковских за стойкой. Подняли руки, шары вылупили – трясутся.

– Ты! – Гастон тычет стволом в ближнюю крысу. – Выгребай деньги.

Бросает на стойку мятый мешок:

– Всё выгребай, живо! Сюда кидай.

– Стоять-не-дёргаться! Кто пёрнет – завалю!

Это не Гастон. Это расхристанный чернявый шпендрик с мятым хайлом. Костя его не знает, и век бы не знал, ей-бо-гу! Древний «Lefauscheux» с исцарапанным восьмигранным стволом ходит в руках шпендрика ходуном. Того и гляди, пальнёт почём зря. На кой чёрт Гастон взял на дело это рак-ло⁶?!

Гастон морщится. Но на словах встаёт за шпендрика горой:

– Все слышали? Делайте, что вам говорят, и все останутся живы.

Взгляд и ствол упираются в каждого банковского по очереди. Кажется, что Гастон пересчитывает кассиров, замерших в испуге. Ствол останавливается на старшем:

– Открывай сейф.

Грузному дядьке лет под пятьдесят. Он не двигается с места.

– Жить хочешь?! Греби деньги лопатой.

У дядьки судорожно дёргается кадык. Он силится что-то сказать, но не может. Речь возвращается лишь со второй попытки:

– ...ключи!

– Что – ключи?

– Они в кабинете управляющего.

⁶ Ракло – босяк.

– Ну так принеси. Он, – Гастрит кивает Косте, – тебя проводит.

Костя кивает в ответ. Держит кассира под прицелом, следует за ним в коридор, начинающийся сбоку от стойки.

– Ты – на шухере у окна. Гляди в оба! – слышит он за спиной распоряжения Гастона. – Ты подгребай сюда бабки. Ты стань у входа, вы двое держите их на мушке...

Грамотно, думает Костя, пока дядька отпирает дверь в кабинет управляющего. Щёлкает выключателем, над потолком вспыхивает люстра. В ярком свете, словно мальчишки на летнем берегу реки, нежатся обитые бархатом кресла-пузаны. Шкаф во всю стену, широченный стол с бумагами и банковскими книгами; с краю приткнулась чёрная штуковина, от неё в угол течёт аспидный хвост-провод. Небось, тоже что-то электрическое, лучше не трогать!

– Ключ где?

– Станислав Евграфович в столе держат-с.

– Бери и пошли!

Кассир бочком протискивается мимо стола, дёргает ящик.

– Заперто!

– А ну, отзынь.

Держа кассира на мушке, Костя обходит стол.

– Который ящик?

– Верхний.

И правда заперто, не соврал банковский. Куда ему баки вкручивать: вон, в угол забился, рожа белей извёстки. Того

и гляди, в ящик с перепугу сыграет.

– Спокойно, дядя. Стой, не мельтеши. Дыши ровно, я разберусь.

Зря, что ли, Филин фомку в кармане носит? Пригодилась, родимая. Стол на вид солидный, а замък на ящике хилый. крак! – и готово.

– Этот ключ?

– Он самый, не извольте сомне...

– Сейф где?

– Там.

– Где «там»?

– Вы только не стреляйте! В зале сейф.

– Зал где?!

– В кассовом зале! Там, где ваши. Сзади, за перегородкой.

– Веди.

Грòши, думает Костя, топя обратно. Теперь заживём! Студент Дуняшу за себя возьмёт, хату на Москалёвке поставят... Он прямо видит её, Дуняшину хату. Белёные стены расписаны васильками, в красном углу – иконы и вышитые рушники. Да, и люстра. Электрическая! Люстра обязательно – в горнице, над столом.

«Присягу, должно быть, принимают.»

Губернский город X встретил Алексева метелью.

– Носильщик!

– Здесь, ваше благородие!

– Извольте взять мой саквояж.

– С нашим удовольствием!

Фуражка с кокардой. Смазные сапоги. Брезентовый фартук поверх тулупа. Гулкий нутряной бас. Ухмылка, блеск зубов. Борода раздвоена, как хвост ласточки. Машинально фиксируя в памяти детали колоритного облика, Алексеев глядел, как носильщик подхватывает саквояж – ничтожная ноша для такого медведя! – и вразвалочку топает по перрону, озираясь через плечо: следует ли за ним пассажир?

– Не отставайте, ваше благородие!

– Что это у вас? Никак, ремонт?

– Ага, строимся. Аккурат в прошлом годе начали-с. По проекту господина Загоскина, Илиодора Илиодоровича, дай ему бог всяческого здоровья...

– Так ты, я вижу, братец, человек образованный? В курсе событий?

– Шутите, ваше благородие? Наши науки – ноги да руки! А Илиодора Илиодоровича я знаю, не без того. У ихнего брата Сергея Илиодоровича особняк на Мирносицкой, моя

благоверная там в прислуге. Когда к ней захоживаю, мне чарочку подносят. И калач дают на заедки. Было дело, летом трухлявый клён падать вздумал, так я держал, пока детей из сада не повыгоняли. Спину по сей день ломит, ну да ничего, оклемался. Сергей Илиодорович меня назвал Ерусланом Лазаревичем и велел заходить, не чинясь. Вы не знаете, ваше благородие, кто он таков, этот Еруслан?

– Богатырь он, братец. Славный и могучий.

– Богатырь? А я, дурак, боялся, что жид.

– Отчего жид, если Еруслан?

– Так ведь Лазаревич! К Сергею Илиодоровичу товарищ приходил, тоже из строителей – Мелетинский Моисей Лазаревич. Он жид, я точно знаю...

Витязь, подумал Алексеев. Ох, не везёт тебе, витязь. Как пряму ехати – обрезану быти.

В вокзале царила неразбериха. Сновали рабочие, таскали доски, носилки с кирпичом, ведра раствора, изразцы для облицовки стен. Пассажиры, прибывшие на поезде, и местные, кто явился встречать друзей и родственников, путались в лабиринте строительных лесов, уворачивались от мальчишек-посыльных, бранились, когда сверху на них сыпалось, шлёпалось, падало. Если дело и не заканчивалось смертоубийством, так только чудом. Где-то играл оркестр, но Алексеев не видел, где. Вальс «Le sang Viennois» кружился в метели роем июльских бабочек, вдохновенный Штраус вливал

венскую кровь⁷ в жилы провинциального вокзала, и контраст с грязью и суетой был таков, что хоть сейчас на сцену. Носильщики, скрипки, рабочие, виолончели, раствор, валторны, посыльные, альты; всклокоченный начальник станции размахивает руками, бежит вприпрыжку, на три четверти, и лицо его, как и вальс, задорное, сентиментальное, всё сразу...

– Берегись, ваше благородие!

– Что ещё?

– Тут ступеньки. Обледенели, мать их...

Спотыкаясь, оглохнув от шума, втянув головы в плечи, они выбрались на Архиерейскую леваду, так и не привыкшую к гордому имени Привокзальной площади. Отец Алексева помнил леваду сушим болотом, через которое весной и осенью бросали дощатые мостки – иначе не переберёшься, завязнешь в трясине. Здесь пасли скот, а на огородах выращивали овощи для святых отцов, стоящих во главе местной епархии. Сам Алексеев левады не застал, город выкупил её у церкви, когда Алексееву исполнилось шесть лет, но позже отец привез пятнадцатилетнего гимназиста Костю в город X – сперва не сюда, а в Григоровку, на вокзал уже потом – и площадь в том дождливом апреле вполне сгодилась бы и для выпаса овец, и для рядов бокастой капусты.

Оглянувшись, Алексеев едва не упал и помянул Господа всуе. Скромное двухэтажное здание, каким он помнил вок-

⁷ Le sang Viennois – «Венская кровь», вальс И. Штрауса.

зал, из замухрышки превратилось в натурального Еруслана Лазаревича – раздалось вширь, выросло вверх, раскинуло ярко-желтые, как летний одуванчик, крылья. Центральную часть богатыря венчал красный шлем – купол, более уместный на церкви, нежели на вокзале. Ветер крепчал, снег буйным смерчем вился над куполом, и казалось, что выюга-насмешница воздвигает над храмом прогресса сияющий крест.

– Куда багаж нести, ваше благородие? На конку?

– На биржу⁸. Где сейчас извозчики стоят?

– Ваньки⁹-то? А там же, где и прошлый год. Идёмте, тут рядышком.

Он оглянулся во второй раз. Конечно, не надо было этого делать. Во всякой порядочной сказке оглянулся – пропал. Что я вижу, подумал Алексеев. Что? Вечер. Вокзал. Желтые, местами недокрашенные стены. Купол цвета кирпича. Выюжный крест. Суета на ступеньках у входа. Вызывающе пустая площадь. По краям, в кулисах, сгущается первая, ещё робкая тьма. На переднем плане, у рампы – носильщик с приездим. Надсадно гудит паровоз, уходя в депо. Из левого крыла здания, ослабленный стенами, доносится шум строительства. Я знаю, как это выстроить понарошку – так, чтобы получилось взаправду; нет, лучше, чем взаправду. Я знаю, я этого не сделаю. Я больше никогда не стану этого делать.

⁸ Место стоянки извозчиков называлось биржей.

⁹ Ваньками звали извозчиков. В городе X это звучало не как «ванька», а как «ванькò».

Я что, всё-таки принял решение?

Похоже, что да.

Он смотрел на вокзал так, будто прощался с жизнью. Не с жизнью вообще, а с одной из дорог, открывшихся витязю. Может быть, это и значило для Алексеева: с жизнью вообще.

* * *

– Куда едем, барин?

– На Епархиальную.

Низкие сани. Гнедая кобыла. На спине – снег горой.

– Три гривенника.

– Шутишь? Я за двадцать копеек в Москве езжу.

– Далеко едешь? Со двора, небось, на улицу?

– Из Денежного переулка в университет.

Извозчик добродушен, мягок, развалист. Рубаха-парень. В годах, но крепок. Хоть в сани запрягай, вместо кобылы. Борода лопатой. Упала на грудь, блестит серебром.

– Так то в Москве, барин, – хмыкает он с таким великолепным презрением, как если бы говорил не о Москве, а о замшелом Глухорыбинске в Серпуховском уезде. – У вас там переулки Денежные, улицы Рублёвые. А у нас жизнь простая, бедная: пуд овса – семьдесят копеек, кобылу подковать – десять копеек с ноги. Три гривенника, и поехали.

– Два.

– Хочешь дешевле, езжай на конке.

Синий армяк ношен и переносен. Свисают длинные полы. Тумба складок на заду. Из подбива наружу лезет вата. Треух свирепо лохмат. На плечах, на шапке – снег.

«Подробности – главное, – утверждал Гёте, знаток ангельских хоров и дьявольских ухваток. – Подробности – Бог.»

– Топай пешочком на Екатеринославскую, – извозчик машет рукой через всю площадь, в сторону моста. – Там у них стоянка. Пять копеек по прямой, семь с пересадкой. Тебе на Епархиальную?

Он переходит на «ты». Мол, чую, что клиент соскакивает. Чую и нимало тем не беспокоюсь.

– Да.

– До Ветеринарной доведёт. Дальше пешком. Ты, главное, не замёрзни, пока дождёшься. Редкие они ввечеру, эти конки. Нет, ты глянь, а! Метёт, аж страшно. Скажешь, весна? Зима, чтоб её черти взяли.

– Два гривенника с пятаком.

– Садись, барин, уговорил. Ножки укутай, там у меня овчинка лежит.

– Медвежьей полости не припас?

– Медвежья у нас только болезнь. Вижу, ты торговаться мастак, аж завидно. Купец, а? С виду и не скажешь, с виду прямо твое превосходительство...

– Канительщик.

– Ну, не хочешь говорить, и не надо. Эх, сани, едут сами! Пошли, поехали, полетели. Кобылка тянула на славу. По

Екатеринославской, мимо Дмитриевской церкви, пожарной каланчи, музыкального училища. Из окон училища, несмотря на позднее время, звучало фортепиано: ноктюрн Шопена. Вплотную к саням – еле увернулись! – прогрохотали железные колеса. Конка, запряженная парой храпящих коней, шла по маршруту. Опаздывала: кучер выжимал из упряжки последние соки. Зимний вагон с бортами и крышей был битком набит пассажирами, как бочка – селёдкой. Позади свисали мальчишки, брызгали заливистым хохотом. Алексеев втайне порадовался, что взял «ванькà». Говорить об этом вслух не стал: извозчик и так всё понимал наилучшим образом.

Свернули у «Гранд-Отеля». Выбрались на Николаевскую площадь: биржа, полиция, Дворянское собрание. В окне Волжско-Камского банка, ярко освещённом электричеством, маячили служащие: три-четыре человека, отсюда не разглядеть. Воздев руки к потолку, они переглядывались со значением. Мизансцена была высокопарной и нарочитой – такими грешат провинциальные театры.

– Что это они?

Извозчик оглянулся через плечо:

– Не могу знать. Присягу, должно быть, принимают.

– Присягу? Какую?

– Не могу знать.

– Из солдат? – спросил извозчика Алексеев.

Банковские служащие уже перестали его интересоваться. С площади сани бодро вылетели на Сумскую улицу, мощеную

крупным булыжником, и Волжско-Камский банк скрылся из виду.

– Так точно, вашбродь! – отрапортовал извозчик, помолодев лет на двадцать. Речь его изменилась, из добродушной превратившись в казённую. – Фельдфебель Черкасский, Двенадцатый драгунский полк. Из кантонистов¹⁰ мы...

– Так у тебя же, небось, пенсия?

– Есть пенсия, как не быть. Сорок рублей, грех жаловаться.

– Что же ты извозом промышляешь? Сидел бы дома, пил бы чай.

Сорок рублей, отметил Алексеев. Красильщик на шерстомойне получает тридцать. Бутафор в театре – пятьдесят. Учитель гимназии – восемьдесят пять. Действительно, можно пить чай.

– Скука дома, – честно ответил извозчик, перекрикивая стук копыт. – В могиле, и то краше. Дети выросли, разбежались. В хату носа не кажут. Старуха в голове дырку языком проела. От чая брюхо пучит. А так и с людьми поговоришь, и проветришься, и лишней копейкой разживешься. Паберегис-с-сь!

¹⁰ Кантонисты – несовершеннолетние рекруты, обучавшиеся в военных кантонистских (гарнизонных) школах. Это же название относилось к финским, цыганским, еврейским или польским детям-рекрутам.

4

«Левольвертом грозился!»

Дело было на мази.

Со второй попытки – руки тряслись – дядя открыл сейф. Теперь он сидел в углу прямо на полу: хрипел, держался за сердце. Ничего, решил Костя. Удар не хватил, и ладно, оклемается. Кассиры помоложе выгребали из сейфа пачки ассигнаций и банкноты россыпью, сваливали на стойку. Костя покрикивал на них, чтобы торопились, ссыпал *гроши* в мешок. Кое-что, ясное дело, прилипало к рукам. Гастрит заметил, но смолчал, даже усмехнулся в усы – как почудилось Косте, с одобрением.

Одобрение Филину не понравилось. В голове, как в кулаке, забилась, зажужжала назойливая муха тревоги. И тут же за окнами взорвались пронзительные свистки.

– Шухер! Фараоны!

Костя вздрогнул. Вот тебе и «на мази»!

Чернявый шпендрик, дежуривший у дверей, сорвался первым. Остальные – следом. Филин замешкался: сунул в карман пачку карасей¹¹. Он уже собрался рвать когти, когда внизу тяжко грюкнуло: раз, другой.

– Гады! – взвизгнул шпендрик. – Законопатили!

¹¹ Карась – десятирублёвая купюра, «красная».

Топот, крики, отчаянная ругань. На первом этаже зазвенело разбитое стекло: похоже, налётчики выбирались через окна. Свистки сделались громче, будто свистели уже в самом здании. В ответ захлопали выстрелы.

Кто-то ухватил Филина за рукав. Костя отшатнулся к стойке, вскинул револьвер.

– Сдурел, ё?!

– Тьфу на тебя! Чего надо?

– Ноги делать надо. – Ёкарь сгрёб со стойки банкноты, сколько сумел ухватить, и затолкал в карман. – Надо, ё!

– Так делаем!

Словно очнувшись от кошмара, Костя оторвал взгляд от россыпи купюр. Рванул к дверям, ведущим на лестницу, но Ёкарь поймал его за плечо:

– Не туда! За мной!

Он увлёк Филина в боковой коридор. Горячо шептал на бегу, плюясь Косте в ухо:

– Хай нам на пользу. Пока шухер, мы задами уйдём! Понял, ё?

– Второй этаж? – усомнился Костя.

– А фараонам в лапы лучше?

– Не лучше.

Со второго удара он вышиб ногой дверь случайного кабинета. Внутри было темно, но снаружи пробивался жёлтый свет фонаря. Его хватило, чтобы разглядеть высокое окно и стол, придвинутый к подоконнику. На стол Филин взлетел,

оправдывая кличку. Дёрнул верхний шпингалет – раз, другой. Ёкарь возился с нижним. Захрустела бумага, которой на зиму заклеили раму, окно с треском распахнулось. Морозный воздух обдал разгорячённое лицо. Из рта вырвался клуб пара.

Костя быстро оглядел двор. Вроде, никого.

– Шо под стеной, ё?

– Сугроб намело.

– Ну, с Богом!

Филин торопливо перекрестился и, зажмурившись, сиганул вниз. Падение вышибло из него дух, задница взвыла от боли, левую лодыжку как из нагана прострелили. Отплёвываясь, Филин выбрался из сугроба. На обжитое, можно сказать, нагретое место ухнул Ёкарь. Нога болела, но ничего, идти можно. Какой там идти – бежать! Костя ускорил шаг и споткнулся – в глубине двора, рванув натянутые нервы, приглушённо ахнул выстрел.

Не сговариваясь, оба припустили прочь. Двор, улица. Подошвы ботинок скользят по обледенелой брусчатке. Подворотня. Ещё двор, проходняк, переулок. Отчаянно кололо в боку. Костя остановился, согнулся пополам, храпя словно загнанная лошадь. Навострил уши: ни стрельбы, ни топота казённых сапог. Свистки, и те смолкли.

– Ушли, ё, – выдохнул Ёкарь.

Костя промолчал, чтобы не накликать.

– У тебя смолить есть? Подыхаю без курева!

– Ё, – подсказал Костя.

– Ё, – согласился Ёкарь.

* * *

Как вскоре установит следствие, пока налётчики держали на мушке кассиров и потрошили сейф, в банке прятались ещё трое: двое служащих и управляющий. На его счастье, управляющий перед налётом отлучился в клозет по большой нужде – и просидел там до конца налёта, а после ещё сорок минут, во избежание. Городовым пришлось сильно постараться, чтобы убедить Станислава Евграфовича: опасность миновала, можно выходить.

Служащие, напротив, повели себя достойно. Мошевский Андрей Спиридонович поднимался по чёрной лестнице, когда из кассового зала донеслось: «Руки вверх! Это налёт!» Мошевский бегом кинулся обратно, но спастись не стал, а первым делом поднял тревогу и предупредил сторожей. Предупредив же, благоразумно покинул здание банка.

Не имея огнестрельного оружия, сторожа кликнули ближайших городовых, каких удалось сыскать, а также дворников, коим вменялось в обязанность оказывать помощь городовым в случае необходимости. Вместе они перекрыли парадный вход, наискось вставив дюймовую доску в наружные ручки дверей – дабы грабители не сбежали с похищенным. После чего городовые свистками принялись звать подмогу.

Второй служащий, Лаврик Иосиф Кондратьевич...
Нет, ещё не время. Обо всех в свой черёд.

* * *

Двоих повязали сразу. Едва из окна выскочили – сбили с ног, ткнули мордами в снег, заломили руки за спину. Васёк Тёсаный взялся палить в городских. Ни в кого не попал, зато городские попрятались, от греха подальше. Лишь свистели из укрытий так, что уши закладывало. Тёсаный с Хробаком кувыркнулись наружу, рванули в разные стороны. Бабахнул пугач Хробака – нормального ствола тому не досталось. Кто-то бросился Тёсаному наперерез, и Васёк, не целясь, выстрелил. Попал или нет, но человек шарахнулся прочь. Сломя голову Тёсаный ломанулся вниз, под уклон, быстро набирая скорость и молясь об одном: не дай бог поскользнуться! Отшатнулся в сторону прохожий, белый от испуга, зашлась визгом дура-баба. Вихрем промчавшись по краю Николаевской площади, Васёк нёсся куда глаза глядят, не чуя под собой ног. В мыслях он благодарил Гастона за подаренный револьвер – своего у Тёсаного не было. Без ствола уже как пить дать повязали бы, а так – поди-возьми!

На перекрёстке он чуть не попал под сани. Вывернулся чудом, провожаемый матерной руганью извозчика, нырнул в Плетнёвский переулок. Сердце заходило в груди, кипело отчаянной радостью: ушёл!

Ушёл!

У Подольского моста Васёк с размаху налетел на какого-то мужика, здоровенного как ломовой битюг. Не долго думая, мужик съездил Васька кулаком по уху. Набатов грянул церковный благовест, голова пошла кругом, из глаз брызнули искры. Тёсаный едва устоял на ногах. Остервенело ткнул в злодея стволом револьвера, нажал на спуск. В ответ раздался сухой щелчок.

– Ах ты, сука! Душегуб!

Мужик замахнулся вновь, но Васёк успел раньше: врезал гаду револьвером по роже. Брызнуло красным. Откуда-то сбоку Тёсаному по второму разу прилетело в многострадальное ухо, а с другого бока – в скулу. Мужик оказался не один, а с приятелями. Васёк не удержался на ногах, упал, и его стали пинать сапогами.

– Пр-р-р-рекратить!

Ну, прекратили. Не сразу.

– Кто такие?! Почему драка?!

– С завода мы...

– С Трепковского...

– Со смены домой идём...

Голоса бубнили, сливались в неясный хор.

– А этот налетел...

– Убить хотел!

– Левольвертом грозился!

– Мы ему и вломили...

– Шоб знал...

– Револьвером, говоришь? Где его револьвер?

– Да вот он!

Толкаясь, рабочие выудили из сугроба оброненный револьвер. Подали околоточному надзирателю, чьи сапоги со значением переминались перед Васьковым носом, не суля добра.

– Поднимите его!

Тёсаного подхватили под руки, вздёрнули, встряхнули. Помимо воли он взглянул на фараона. Архип Семичастный, старый знакомец, сопел, шмыгал носом-картошкой. Широкое лицо его расплылось в усмешке:

– Молодцы, парни! Я за ним и гнался.

– Так, может, добавить? На добрую память?

– В участке добавим.

– Кто же он таков?

– Василий Нежданов, жулик первостатейный. Теперь ещё и бандит, выходит. Ну, теперича остальных живо прищучим! Перво-наперво дружка евойного, Лёху Хробака – рупь за сто, вместе грабили. А этого давайте в участок, тут недалеко...

Лёху Хробака, по паспортной книжке Галкина Алексея Егоровича, мелкого базарного воришку, а также известного горлопана и паникёра, проживавшего по улице Кузнечной с матерью и отцом-инвалидом, горьким пьяницей, взяли прямо на дому. Удрал от погони, Лёха не нашёл ничего лучшего

как спрятаться под кроватью.

Извлекали его втроем: упирался.

Глава вторая

«Моё имя должно быть в истории»

1

«Бойтесь данайцев, дары приносящих!»

В подъезде пахло котами и картошкой, жареной на сале.

Квартира, ради которой Алексеев приехал в губернский город X, располагалась на четвертом, последнем этаже доходного дома с мансардой, занимавшей половину чердака. Судя по свету керосиновой лампы, озарявшей крохотное, выходящее на улицу оконце, мансарду тоже сдавали внаём – студентам или художникам. Четвертый, думал Алексеев, поднимаясь по лестнице. Не самый престижный, как, скажем, третий, но из чистых, недешевых. Что я здесь делаю? Ещё неделю назад я и знать не знал ни о доме на Епархиальной, ни о квартире на четвёртом этаже, ни о новопреставленной рабе Божией Елизавете, упокой, Господи, душу её и прости согрешения вольныя и невольныя!

И картошкой пахнет, спасу нет.

Высокие филенчатые двери украшал дверной молоток:

лев держит в зубах кольцо. Бронза давно поблекла, покрылась зеленью. Царила тишина, такая, что нарушить её казалось кощунством. Где-то заплакал ребёнок и сразу перестал. Алексеев постучал и ждал долго, невыносимо долго, прежде чем постучать во второй раз. Ему казалось, что там, за дверью, кто-то стоит, стоит с самого начала, беззвучно шевелит губами и не решается открыть.

– Кто там? – спросили наконец.

– Моя фамилия Алексеев. Мне писали, что вы знаете обо мне.

Надо было ехать в гостиницу. Снять номер в «Гранд-Отеле», переночевать по-человечески, отдохнуть, позавтракать в ресторане, выпить кофе, а уже потом, на свежую голову, отправляться на Епархиальную. В письме, полученном Алексеевым от нотариуса Янсона, в числе прочего стояло условие ехать на квартиру сразу же по прибытии в город – якобы такое странное требование диктовалось завещанием покойной хозяйки! – но Алексеев искренне полагал, что никакой нотариус в мире не станет проверять его маршруты на ночь глядя, а если и проверит, не будет корить за мелкое нарушение. Это чудо, что в квартире вообще есть живая душа. Ключей Алексееву не выслали: приехал бы, поцеловал закрытую дверь – и давай, милостивый государь, иди в метель, ищи извозчика по новой! Вечёр, ты помнишь, вьюга злилась? Алексеев выругал себя за излишнюю честность. Такие дела всё равно за один вечер не делаются, и за два тоже. С какой радости

его понесло сюда прямо от вокзала? Должно быть, попутчик утомил, сбил с хода мыслей...

– Да-да, конечно!

Щёлкнул замок. Дверь приоткрылась, удерживаемая цепочкой, в щели блеснул глаз – женский, недоверчивый. Судя по тому, что глаз смотрел Алексееву едва ли не в живот, женщина отличалась малым ростом. А может, присела от страха – об этом Алексеев подумал во вторую очередь и почему-то разозлился. Он поставил саквояж на пол – к счастью, не слишком замызганный – и отошел к лестнице. Оперся спиной о перила, давая себя рассмотреть. Подъезд освещался газовыми рожками, укрепленными на стенах в чугунных держакках. Свет рожки давали скудный, тусклый и угрюмый, но это было лучше, чем ничего.

Сердце подсказывало, что эта мизансцена выразительней. Зрительный зал – напротив, погружен во тьму, спрятан за дверями обстоятельств, у каждого зрителя – своих. Лиц не видно, очертаний не видно, только блестят глаза, сойдясь в один-единственный, готовый съесть тебя целиком глаз. Ты ещё не завоевал их, не подчинил, собрав внимание в фокус. Тебе это только предстоит – любой ценой, иначе беги прямо сейчас, беги и не оглядывайся. Бежать? Это лишнее. Шаг назад, нет, два шага – чтобы не давить, не возвышаться, увеличить расстояние, снять напряжение позы. Между вами – саквояж. Одинокий, кожаный, ясно утверждающий: дорога, хлопоты, усталость. Верхний свет: за спиной и чуть сбоку.

Он сглаживает тени, смягчает черты.

Что в итоге? Доверие, расположение, сочувствие.

Это было так же точно, обоснованно и неотвратимо, как то, что французские алмазные фильеры¹², обкатывающие проволоку, по эксплуатационной стойкости в тысячи раз превосходят волòки отечественные из стали и чугуна.

– Открываем, уже открываем!

И на два голоса, словно обитательница квартиры раздвоилась:

– Милости просим!

Дверь захлопнулась, брякнула цепочка. В следующий момент дверь распахнулась так резко и широко, что ударилась краем о стену, сшибив под ноги Алексееву кусок штукатурки. За порогом, перекрывая вид на сумрачный коридор, топтались две женщины: старшая и младшая. Приживалки, вспомнил Алексеев письмо Янсона. Компаньонки Заикиной, мать и дочь. Как их фамилия? Ну да, Лелюк.

– Добрый вечер, Неонила Прокофьевна, – память, выдрессированная с ходу запоминать не только роли, но и техническую документацию, редко подводила Алексеева. – Здравствуйте, Анна Ивановна. Вы позволите?

Запах жареной картошки – жирной, чуточку подгорелой, с репчатым луком – усилился, стал невыносим. От него к горлу подкатывала тошнота, и в тоже время дико хотелось

¹² Фильеры (*рус.* волòки) – инструмент волочильного стана, в котором осуществляется обжатие металла.

есть – так, что в животе урчало, а во рту скапливалась слюна. Коты проигрывали в этой войне ароматов всухую. Алексеев даже услышал заполошное шкворчание сала на сковороде, но скорее всего, это была игра воображения.

– Ой, вы и скажете! – засуетилась мамаша, прижимая руки к монументальной груди. – Позволим? Мы?! Да что же вы спрашиваете, вы же здесь хозяин...

– Ну, это ещё вилами по воде писано!

– Ой, прямо-таки вилами! Вы проходите, не стесняйтесь...

С дороги они не убирались.

– Как вас величать-то?

– Константин Сергеевич.

– Ну да, ну да, Сергеевич... Очень душеприятно, очень!

– Так я могу войти?

– Ой, дуры мы, дуры набитые, – женщины сдали назад.

Разошлись в стороны, прижались к стенам. Явственно чувствовалось, что они боятся до одури, несообразно моменту, что им страсть как хочется стоять плечом к плечу, жаться друг к дружке. – Заходите, раздевайтесь, мойте руки. Как раз к ужину поспели, у нас и водочка есть...

Перспектива водочки слегка скрасила Алексееву настроение. Он предпочел бы другое место и другую компанию, но винить приживалок было не за что, а срывать на них свою злость – недостойно порядочного человека.

Войдя в квартиру, Алексеев переменился. Если на лест-

ничной клетке переминался с ноги на ногу актёр, обладатель редкого характерного диапазона от купца Паратова, свратителя волжских бесприданниц, до ревнивого мавра Отелло, скорого на гнев и расправу, то в прихожей уже стоял родной сын коммерции советника, председатель правления Товарищества торговли и золотоканительного производства, фабрикант с личным капиталом в треть миллиона рублей. Взгляд его был цепок, подмечая и сортируя все интересующие Алексеева детали.

– Я смотрю, у вас не холодно?

– Вы раздевайтесь, у нас теплынь! Прямо май месяц...

С показной лихостью Алексеев бросил шляпу на плоский верх дубовой вешалки, поставленной вдоль стены. В дороге он не раз похвалил себя за то, что одолел пустое щегольство, отказавшись от котелка в пользу шляпы из чёрного каракуля.

Снял пальто, повесил на крючок. Примостил в углу саквояж.

– Чем топите, если не секрет?

– Паром, батюшка, паром. Весь дом на паровом отоплении...

– Вот тапочки, – еле слышно прошептала младшая. – Мяконькие.

Алексеев разулся. Тапочки оказались впору.

– Где я могу вымыть руки?

– А я и провожу, – засуетилась Неонила Прокофьевна. – Я и провожу, и полотенечко укажу. Чистое висит, нарочно

для вас, батюшка мой...

Водопровод, оценил Алексеев, зайдя в ванную комнату. Небось, и ватер-клозет имеется. И электричество. Газовые рожки в подъезде смутили его, но теперь делалось ясно: дом подключён к электроснабжению. Дом каменный, район хороший, можно сказать, отличный. Считай, подарок судьбы.

*Timeo Danaos et dona ferentes*¹³?

– За стол, батюшка, за стол! – щебетала под дверью мамаша.

Стол накрыли не в столовой, как того ждал Алексеев, а в кухне. Впрочем, кухня была большая, три человека разместились без труда и даже с комфортом. Запах жареной картошки теперь манил, а не раздражал. Если бы Алексеев верил в мистику, решил бы, что его присутствие в кухне расположило к нему высшие силы – ну, или здешнего домовичка.

– Душевно извиняемся, – зарделась Неонила Прокофьевна. Алексеев был уверен, что его удивление ни единым лучиком не пробилось наружу, но мамаша, похоже, всё хватала на лету. – Матушка велела, покойница.

– Покойница? Велела?

– Елизавета Петровна. Строго-настрога приказала: ужинать в кухне.

– Всегда?!

Тиранша, охнул Алексеев. Салтычиха¹⁴.

¹³ Бойтесь данайцев, дары приносящих (*лат*).

¹⁴ Салтычиха – Дарья Салтыкова по прозвищу «людоедка». Помещица-садист-

– Нет, что вы! Только нонеча, в день вашего драгоценного приезда. Так-то мы в столовой трапезничаем, как люди. Ну, ничего, скоро съедем, по миру пойдем. Будем есть где попа- ло, что придётся...

В голосе мамыши звучали слезы.

Алексеев предпочел не заметить намёка. Присев к столу, он смотрел, как Неонила Прокофьевна, торопясь, чтобы не напустить в кухню холода, открывает окно – и достает с под- оконника графинчик с притертой пробкой, охлаждавший- ся на морозе. Во избежание катастрофы графин был привя- зан короткой бечёвкой к гвоздю, вбитому в раму. Окно за- хлопнулось, лязгнули шпингалеты. Пленника отвязали и со всеми наивозможными почестями водрузили на стол, в са- мый центр, между домашней колбасой, нарезанной толсты- ми кружками, блюдечком соленых груздей и тарелкой капу- сты, квашеной с клюквой.

– Я разолью?

– Не употребляю, – выдохнула дочь. – Я водички...

– Капельку, – отозвалась мамыша. – Спать лучше буду.

Стоя к Алексееву спиной, туго обтянутой вязаной коф- той, старшая приживалка перекладывала картошку из чугу- нной сковороды в объемистую фаянсовую супницу. Супни- ца была расписана павлинами и цветущими ветвями яблони. Для Алексеева осталось загадкой, каким образом соче-

ка, убила и замучила десятки крепостных крестьян. Умерла в монастырской тюрьме, куда была заключена пожизненно.

таются картошка и супница. Похоже, местные правила поведения целиком и полностью определяла «матушка-покойница», исходя из очень сложных соображений.

Алексеев наполнил две рюмки. Дождался, когда приживалки займут места за столом, встал во весь свой немалый рост:

– Покой, Господи, душу усопшия рабы Твоя Елизаветы! И елико в житии сем яко человек согреши, Ты же, яко Человеколюбец Бог, прости ею и помилуй...

– ...вечныя муки избави и огня гееннскаго, – приживалки вскочили, кланяясь, – и даруй ею причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя...

– И душам нашим полезная сотвори, – решил не затягивать молитву Алексеев. – Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Выпили. Закусили.

Мамаша ела чинно, вздыхая над каждым кусочком. Кусочков было немало, вздохи множились без счёта. Дочь клевала как птичка. Выпили по второй, во здравие собравшихся. Молчание сделалось невыносимым. Выпили по третьей, за прекрасных дам. Хватит, подумал Алексеев. Такие паузы не для меня. Тост за дам предложил он, как единственный мужчина, и сейчас жалел об этом. Если во здравие ещё как-то провоцировало диалог, то прекрасные дамы захлопнули рты приживалок раз и навсегда.

О чём говорить, если не о чем говорить? Когда массов-

ке ставят задачу создать невнятную многоголосицу, статисты начинают повторять эту белиберду – «о чём говорить, если не о чем...» – невпопад и на разные лады. В итоге получается вполне приличный народ, который нет, не безмолвствует.

– Прошу прощения, если мой вопрос покажется вам нескромным, – салфеткой он вытер усы, жирные от сала. – Насколько я понимаю, дом, в котором мы сейчас имеем удовольствие ужинать, доходный. Соседний дом, выше по улице – жилой, в частной собственности квартировладельцев, а этот предназначен для аренды. Каким же, позвольте спросить, образом покойная Заикина ухитрилась завещать квартиру мне? И нотариус ничего не заподозрил, не заявил протест... Квартира что, выкупленная?

Он рассчитывал на хор протестов. И был немало обескуражен ответом.

– Выкупленная, батюшка, – закивала мамаша. Глаза Неонилы Прокофьевны замаслились, словно она ела картошку не так, как обычные люди, а взглядом. – В полной собственности Елизаветы Петровны. Теперь-то ваша, значит...

– Выкупленная, – чирикнула дочь. – Ваша.

Чудны дела Твои, Господи, подумал Алексеев.

* * *

Квартиры в доходных домах выкупались редко. Владельцы строили дома – серые, каменные, или из красного кирпича.

ча – для того, чтобы сдавать помещения внаём, желательно на долгий срок. Подвалы отдавались под склады, первые этажи занимали лавки, магазины, аптеки для казенных служб, на вторых работали швейные, портняжные, обувные мастерские. Третьи этажи, самые дорогие, снимались «чистой» публикой, чаще всего дворянского сословия. Дальше дело шло так: чем выше, тем дешевле. В мансардах, как в городе Х элегантно именовали чердаки, мало-мальски приведенные в божеский вид, селились студенты, художники и нижние военные чины в отставке.

Жильцы доходных домов, вне зависимости от сословий и званий, были едины в главном – они не хотели обременять себя обязанностями по обслуживанию собственной недвижимости, о чём заявляли вслух, не стесняясь в выражениях, при первой подвернувшейся возможности. Слушатели кивали и ухмылялись. Все знали то, о чём «доходяги» умалчивали – ещё больше, чем лень, съёмщиков томила жадность. Они категорически не желали платить государству налоги за свой дом, квартиру или участок земли. Восемь процентов от доходов, шутка ли? Нет уж, в родном кармане денежкам теплее. Сказать по чести, в большинстве случаев это лишало съёмщиков возможности голосовать на выборах в городскую думу, зато позволяло на практике выяснить значение таких сладких слов, как паровое отопление или ватерклозет. Ей-богу, в сравнении с ватерклозетом почетное право отдать свой голос за гласного депутата, наверняка вора и прощелы-

гу, стоило меньше, чем ничего.

Дома росли как грибы. Нищие с церковных папертей удрали к строительным лесам – там подавали чаще и щедрее. Чернила в городской управе лились рекой – только в прошлом году было выдано триста пятьдесят разрешений на постройки. Цены кусались, по дороговизне жилья губернский город Х занимал третье почётное место после двух столиц. Годовая аренда комнаты с удобствами обходилась в триста рублей – и выше, много выше, в зависимости от местоположения. Цена аренды четырехкомнатной квартиры (столовая, детская, спальня, кабинет главы семьи) в «верхнем» фешенебельном районе начиналась от полутора тысяч целковых – годовое жалование тенора средней руки, верой и правдой служившего музам в опере, или, если угодно, четверть оклада городского головы.

Подарок Заикиной был воистину царским.

– Я закурю? – спросил Алексеев.

Не верю, подумал он. Убей бог, по сей час не верю.

– А и курите, батюшка, – обрадовалась Неонила Прокофьевна. – Курите на доброе здоровье! Матушка-покойница, чай, себе тоже в папироске не отказывала. Так и померла, с папироской-то. Во сне померла, праведница.

«Да, грабят! Прямо сейчас!»

Когда в кассовый зал вломились грабители, и главарь командовал: «Руки вверх! Это налёт!» – Иосиф Кондратьевич Лаврик, служащий Волжско-Камского банка двадцати трёх лет от роду, как раз наклонился поднять упавший бланк. По этой случайной причине он и не был замечен налётчиками. Пригибаясь, словно под вражеским обстрелом, скрываясь от бандитов за стойкой, Лаврик выскользнул в боковой коридор и закрылся в чулане рядом с кабинетом управляющего.

В чулане было темно, хоть глаз выколи. Пахло то ли кошками, то ли мышами, а может, теми и другими сразу. В носу отчаянно свербело, и Лаврик прилагал богатырские усилия, чтобы не чихнуть и не выдать себя. Со стороны зала до него долетали приказы грабителей, топот и шарканье ног, случайные возгласы.

Слава Богу, не стреляли.

У Станислава Евграфовича телефон в кабинете! Вне сомнений, управляющий слышит, что творится в зале. Должен слышать! Сейчас он позвонит в полицейское управление, вызовет помощь. Управление напротив, через площадь, долго ждать не придётся... Лаврик прислушался. За стенкой царила тишина. Что же управляющий медлит?! Испугался, решил затаиться? А может, вышел куда? Придётся самому, с

заходящимся сердцем подумал Лаврик. Он начал собираться с духом, но до конца собраться не успел: в коридоре грохотнули шаги. Скрипнула дверь в кабинет Станислава Евграфовича.

– ...ключ где?

– ...в столе держат-с.

– ...бери и пошли!..

Кабинет пуст, понял Лаврик. Звонить в полицию некому. Так что же? Пусть грабят, пусть забирают всё на здоровье? Уходят с добычей?!

– ...в зале сейф. В кассовом зале!..

– ...веди.

Хлопнула дверь. Шаги удалились в конец коридора. Вот он, шанс! Пока бандиты заняты сейфом, в коридор никто и не глянет. Всего-то и надо: одну дверь открыть, в другую юркнуть.

Лаврик выждал ещё немного, прислушиваясь к голосам из кассового зала. Когда замок сейфа приглушённо лязгнул, Лаврик осторожно выглянул из чулана. Вроде, никого. Три заполошных удара сердца – и он в кабинете управляющего. Замер, прислушался. Нет, не бегут, не грозятся. Не суют под нос револьвер, суля разнести голову...

Телефон!

Телефон в Волжско-Камском банке установили недавно, и шести месяцев не прошло. По всему городу таких аппаратов было раз-два – и обчёлся. В резиденции губернатора, ясное

дело, в здании городской думы, у промышленника Трепке, в банках Волжско-Камском и Земельном – и в полицейском управлении. Может, ещё у кого из отцов города – этого Ося не знал. В Волжско-Камском всех служащих в обязательном порядке обучили правилам обращения с чудом прогресса, но до сих пор телефонным аппаратом пользовался один лишь управляющий, и то редко.

Пригодилась наука, подумал Лаврик

– Алло, дайте полицейское управление!..

Он то понижал голос, боясь, что его услышат грабители, то повышал, боясь, что не услышит телефонистка:

– Срочно! Из Волжско-Камского банка звонят. Нас грабят!..

– Вас грабят? Повторите.

– Да, грабят! Прямо сейчас!

– Соединяю...

Слава Богу, в полиции Лаврику поверили сразу. Не сочли за пьяницу или дурного шутника. Спросили, сколько налётчиков. Лаврик не знал. Больше трёх, а насколько больше...

– Выезжаем, – уведомили на том конце провода.

И дали отбой.

Оставалось ждать, пока прибудет полиция. Кабинет Станислава Евграфовича подходил для этого куда лучше воюющего чулана. Вряд ли сюда снова кто-нибудь сунется. Не успел Лаврик утереть взмокший лоб, как снаружи завизжали, заголосили свистки городских. И следом – крики, топот

ног. Неужто примчались?! Вот ведь молодцы! Ну, сейчас полиция задаст жару этим проходимцам!

Звон стекла.

Выстрелы со стороны парадного входа.

За стрельбой Лаврик не сразу расслышал шаги в коридоре. Кто-то уверенно, быстро, но не бегом прошёл к чёрной лестнице. Налётчик? Дождавшись, пока шаги стихнут, Лаврик выглянул в коридор, никого не увидел – и крадучись двинулся следом за неизвестным.

Чего хотел молодой кассир? Проследить за грабителем? Кликнуть городских? Выбраться из здания, унести ноги от греха подальше?

Увы, этого мы так и не узнаем.

* * *

Мешок оказался вместительным.

Миша Клэст, гастролёр, назвавшийся подельникам французским именем Гастон, смотрел, как в мешок сыплются деньги. Пачки, перетянутые банковскими бандерольками, пригоршни разноцветных ассигнаций, золотые монеты. Мише было не впервой следить, что называется, в три глаза: за кассирами, за дураками-подельниками – ещё отчебучат чего невпопад! – за звуками, доносящимися с улицы. Внутренние Мишины часы, точные как швейцарский хронометр фирмы «Павел Буре», отсчитывали оставшееся время.

Позицию у края стойки он занял не зря. Отсюда просматривался коридор, уходивший к чёрному ходу. В итоге от Миши не укрылось, как некий молодой человек скользнул по коридору и нырнул в дверь кабинета управляющего. Клёст знал, что в кабинете имеется техническая новинка – телефон. Не просто знал – выяснил загодя. «Сейчас будет звонить в полицию,» – с удовлетворением отметил Клёст. Это его устраивало больше чем полностью. Уходить всё равно придётся раньше, ещё до явления полиции. Опасное шевеление вокруг банка Миша чуял нутром. В этом не крылось ни капли мистики – в такие моменты волчьи чувства Клёста обострялись до чрезвычайности, в отличие от слуха тупой бестолковой шантрапы, взятой им на дело.

Скрип снега под подошвами. Сколько людей?

Четверо, может, пятеро.

Голоса. Стук доски, вставляемой в ручки входной двери.

Когда раздались свистки, и рыжий увалень, поставленный на стрёме у окна, запоздало гаркнул: «Шухер! Фараоны!» – Клёст был готов к завершению дела. Дождавшись, пока бо́льшая часть налётчиков бросится к парадному входу, он прихватил мешок с деньгами, сунул добычу под мышку и тихо скользнул в боковой коридор.

Уходить было рано. Как сказал бы военный, Миша нуждался в отвлекающем манёвре – и очень рассчитывал в этом на своих одноразовых подельников.

Шушера не подвела. Отыграла, как по нотам, отведенные

им партии. Гулкие удары в барабан – нет, не открыть жиганам дверь, никак не открыть! Сольная ария и хор: «Гады! Законопатили!» Звон тарелок – разлетелось стекло. Контрапункт рожков и флейт – трели свистков. Крещендо револьверных выстрелов...

Внутренние часы сыграли марш. Вылезла кукушка, уведомила: ку-ку. Не торопясь, но и не мешкая, Миша Клёт прошёл пустым коридором к чёрной лестнице. Спустился на два пролёта, аккуратно приоткрыл дверь. Та скрипнула: петли смазывали, но без лишнего усердия. Миша оглядел двор из-под ладони, шурясь, чтобы не слепил свет одинокого фонаря.

Никого.

Он всё наметил заранее. Семь шагов до сарая-пристрой-ки, где хранятся лопаты, мётлы и прочий дворницкий инвентарь. Встать за углом. Наскоро проверить карманы – не забыл ли чего. Достать из-за пазухи примятую фетровую шляпу-котелок. Расправить, разгладить. Порядок. Лохматый треух – долой. Тяжёлый кожух – долой. Под кожухом Миша был облачён в бежевое пальто-коверкот. Жарко, неудобно, двойная одежда сковывала движения, но игра стоила свеч. Пальто вкупе с котелком превращало усача-деревенщину в преуспевающего мещанина, торгового разъездного агента, как в случае нужды представлялся Миша.

Кстати, об усах.

Поморщившись, Клёт отодрал накладные усы – хороший

клея, зар-раза! – и швырнул их в сугроб вслед за треухом и кожаном. Ногой нагрёб сверху рыхлого снега, чтобы в глаза не бросалось. Извлёк из-за пазухи очки-пенсне в проволочной оправе со шнурком, нацепил на нос, завершая перевоплощение.

И услышал за спиной скрип шагов.

Оборачиваясь, Миша сунул руку в карман, нащупал рукоятку нагана. Метель стихла, пуховые снежинки легко вальсировали в жёлтом свете фонаря. Молодой человек, секундой раньше выбравшийся из дверей, встретился с Мишей взглядом и словно на стену налетел: споткнулся, едва не упал, замер как вкопанный. Похоже, он сперва не заметил Мишиного присутствия и только сейчас понял, что во дворе не один. Канцелярский крючок, мамкин любимец: костюмчик в талию, рубашка накрахмалена, на шее – чёрный гробовщицкий «кис-кис». Волосы, блестящие от помады¹⁵, расчесаны на прямой пробор и старательно зализаны в стороны. Ну здравствуй, шустрый телефонист – глаз у Миши был наметанный и память хорошая.

– Что ж вы, милостивый государь? – укорил его Миша. – Без верхней одежды, без шапки? В такую погоду, а?! Замёрзнете ведь.

– Я... я...

– С кем, кстати, имею честь?

¹⁵ Помадой называлось средство для волос. Бриолин появится через несколько лет.

– Лаврик, – телефонист стушевался. – Ося.

– А по бабушке?

– Кондратьевич. Иосиф Кондратьевич. А вы кто будете?

– Миша.

– Просто Миша?

– Ну почему же «просто»? Я Миша Клёт, бью до слёз!

Телефонист от изумления разинул рот. Быстрым движением, шагнув к дураку, Миша сунул ему в рот ствол нагана. От телефониста разило страхом и одеколоном «Лиля Флэри». Сталь громко скрипнула о зубы. Молодой человек мотнул головой, словно пытаясь возразить такому беспардонному насилию, но Миша уже нажал на спусковой крючок. Выстрел прозвучал глухо, как кашель. Затылок телефониста лопнул, брызнул мокротой. Ноги бедняги подломились в коленях; падая, телефонист сунулся головой вперед и боднул бы рослого Мишу в грудь, не отступи Миша в сторону. Револьвер изо рта покойника он с удивительной ловкостью вырвал в последнюю секунду.

«Оську только жалко, – вторя выстрелу, прозвучал старушечий голос. – Пропадёт без меня. Оську жалко, Осеньку...» Старуха говорила тихо, но внятно, как со сцены. Миша наскоро огляделся: нет, чепуха.

Почудилось.

Двор был пуст, не считая Миши и покойника.

«Ну зачем ты вышел, дурья твоя башка? – с запоздалым сожалением вздохнул Клёт, стоя над мертвецом. – Сидел бы

мышкой в норке, не отсвечивал – был бы жив...»

Если Миша мог, он обходился без крови. Но телефонист видел Клёста, когда тот уже сменил внешность. Оглушить? Очнётся, выдаст полиции весь словесный портрет: рост, лицо, одежда, возраст... Выходит, судьба. Был сухой гранд – стал мокрый¹⁶.

Фонарь мигнул, и во дворе остался только покойник.

* * *

Прячась в тених, он пересёк Немецкую улицу и нырнул во двory Мещанской. С уверенностью человека, идущего знакомой дорогой к себе домой, свернул в угловой закуток за фабричным зданием ниточной мануфактуры. Под досками, щедро припорошенными снегом, крылась ухоронка, которую Миша устроил здесь сразу же по приезде в город. Завёрнутый в дерюгу саквояж был на месте. Клёст выждал с минуту, чутко вслушиваясь. Стрельба и свистки на Николаевской площади стихли, вечер загустел, превращаясь в ночь. Небо над Успенским собором расчистилось, подмигивая редкими искорками звёзд. Тишь да гладь, да Божья благодать. Словно и не было ничего.

А ничего и не было. Не было!

Клёст пересыпал добычу из мешка в саквояж. Деньги, что-

¹⁶ Сухой гранд – грабёж без убийства. Мокрый гранд – грабёж с убийством.

бы влезли, пришлось уминать коленом. Завернув в дерюгу наган, Миша положил его в ухоронку на место саквояжа; заново нагрёб снега, пряча следы. Нагана было жаль. Семизарядный «офицерский» самовзвод – машинка надёжная, точная. Шестизарядный француз «Lebel», дремавший про запас в кармане пальто, ему уступал по всем параметрам. Однако бережёного Бог бережёт, а наган – оружие приметное. Всего пару лет как выпускать начали, мало у кого есть, кроме военных. До Клёста долетали слухи о сыскарях-умельцах, что по пуле и царапинам на ней сразу говорят, из какого ствола пуля выпущена.

Ну что, всё?

«Вот и я готовлюсь, – сказали рядом. Голос был знакомый, старушечий. – Готовлюсь, как умею. Оську только жалко...»

Миша прижался спиной к щелястой стене сарая. Сунул руку в карман, нащупал «француза». Прикосновение к оружию не успокоило, напротив, заставило разнервничаться. «Лаврик, – вспомнил Клёст. – Ося. Иосиф Кондратьевич.» Ему показалось, что кто-то ходит рядом, поскрипывая снегом, будто стволом револьвера о чужие зубы. Ходит, дышит, выжидает удобный момент. Но время шло, скрип стих, если вообще был, а никто так и не объявился.

Больше не скрываясь, Клёст вышел на Немецкую под свет фонарей. Прилично одетый господин с мешком подмышкой может вызвать подозрения. Господин с саквояжем в руке – совсем другое дело. Щёлкнула крышка серебряного брегета:

до отправления ночного поезда на Крым оставалось полтора часа. Миша успел бы на вокзал и пешком, но торговый разъездной агент, вне сомнений, поехал бы на извозчике.

– Эй, голубчик!

Он взмахнул рукой, подзывая сани.

3

«Брекекекс!»

Не спалось.

Алексеев ворочался с боку на бок, маялся. Зажег торшер, стоявший между кушеткой и гадательным столиком (вместо ножек – китайские драконы с усами). Нет, не полегчало. Лампу в торшер вкрутили тусклую, грошовую, ради экономии, что ли. Одуревшим мотыльком свет бился в мёртвой хватке абажура, путался в зелёных складках. Тени копились по углам, карабкались на верх мебели. Чёрные карлики, цирковые акробаты.

– Брекекекс! – вслух произнес Алексеев.

Он хотел, чтобы вышло как у Водяного из пьесы Гауптмана «Потонувший колокол»: плотски, вульгарно, похотливо. Хотел, да не смог. Вышло как у жабы из «Дюймовочки».

Под спальню Алексееву выделили кабинет хозяйки. Тишина, сказали, уют и кушетка в лучшем виде, уже застелена свежим бельём. Если по нужде, так water-closet в коридоре, напротив кабинета. Не стесняйтесь, будьте как дома. Хлебнув лишку, мамаша Лелюк забыла, что гость и так здесь как дома, согласно последней воле умершей. Алексеев не стал её поправлять. Ещё удивился втихомолку, почему кабинет, если в квартире с гарантией есть настоящая спальня, хозяйкина. Потом сообразил: представил, как ложится на кровать,

где ещё недавно отдыхала покойная старуха, смотрит в потолок, куда смотрела Заикина перед тем, как упасть в объятия Морфея, а позже и Танатоса, закуривает («*Так и померла, с папироской-то...*»), задрёмывает («*Во сне померла, праведница...*»), весь в мыслях: проснусь или нет? Это хуже, чем чужую пижаму надеть, нестираную. Алексеев всегда возил в багаже пижаму, даже в короткие поездки, без ночёвки – на всякий случай. Был брезглив, знал за собой грешок. Нет уж, лучше кабинет. Хотя могли спальню хотя бы предложить, из вежливости. Или здесь картошка в супнице, а чужой мужчина – в кабинете?

Ещё бы на ключ заперли, чтобы на девичью честь не покусился. С них станется...

– Брекекекс!

Он встал, достал из саквояжа пьесу: тот самый «Потонувший колокол» в переводе молодого поэта Бальмонта, тёзки Алексеева. Вернулся на кушетку, открыл машинописную распечатку, переплетенную в картон: треть сделана на «Ремингтоне», блеклая и не слишком-то разборчивая, две трети – на новомодном «Ундервуде». На полях темнели еле различимые птичьи следы – пометки, оставленные карандашом. Список действующих лиц, первая сцена. Фея Раутенделейн расчесывает золотые волосы, зовёт водяного ради потехи, развеять скуку. Пчела, отражение в колодце, прикосновения к волосам, к груди – камертон, исходное противоречие, всё невинность и эротичность.

Чтение не имело смысла: Алексеев знал пьесу наизусть. Но чтение успокаивало. Он протянул руку, взял со столика футляр с пенсне. Нацепил очки на нос, скорчил потешную гримасу:

– Брекекекс! Кворакс, квак, квак, квак!

Получилось лучше, выразительней. Играть Водяного-заниду Алексеев не собирался – если играть, то литейщика Гейнриха – но удачная реплика, как всегда, доставила удовольствие.

– Брошу, – сказал он, глядя в угол, на тихую бессловесную тень. – Ей-богу, брошу. Никакого театра, пропади он пропадом, только семья и производство. Семья на первом месте, клянусь. Маруся, ты мне веришь?

Тень качнула головой. Жена не верила, сомневалась. А если даже и верила... Признай Маруся, что театр понесёт от ухода Алексеева колоссальную утрату, скажи ему, что для искусства его решение – трагедия, сродни трагедиям Эсхила, уговаривай она мужа пожертвовать семьёй, детьми, ею самой, лишь бы сцена не лишилась такого исключительно дарования – и Алексеев оставил бы подмости с радостью, с куда большим энтузиазмом, чем сейчас, когда для жены эта новость числилась по разряду желанных, долгожданных, утешительных, но не сказать чтобы из ряда вон выходящих. Алексеев даже пытался намекнуть жене, актрисе с тонким акварельным дарованием, на полезность такой реакции – будь это роль, он бы подсказал верный акцент, не стес-

няясь, но увы, это была не роль. Приходилось действовать обходными путями, в частности, слать письма необходимого содержания:

«Пустой дом – куда деваться? Думал, думал... поехал к Медведевой. Просидел с двух до восьми часов. Обедал, чай пил и все шесть часов проговорил, конечно, о театре. Медведева была необыкновенно в духе. Все выпытывала, почему ты больна, не потому ли, что ревнуешь меня к театру. Я удивился, откуда она знает! Оказывается, что у нее с мужем всю жизнь была та же история...»

Тень пожала плечами. Ксения, сказала тень. Наша дочь умерла в два месяца от пневмонии. Ты в этот день играл Паратова в «Бесприданнице». Кира родилась крепкой, но Игорёк – мальчик слабого здоровья, ему нужен уход. Я одна не справляюсь.

«...прости, может, я сделал глупость, но я признался, что часть твоей болезни происходит оттого, что ты меня не видишь. Вот Медведева понимает мое состояние артиста и мужа и сознает, насколько трудно совместить эти две должности; она понимает эту двойственность, живущую в артисте. Любовь к женщине – одно, а любовь к театру – другое. Совсем два разных чувства, одно не уничтожает другого...»

Тебе не интересны разговоры о хозяйстве, напомнила тень. Ты говоришь, что я становлюсь узкой и пустяковой. Я болею, но ты не веришь, думаешь, будто я притворяюсь. Не

верю, только и слышу я от тебя, словно на репетиции. Я не упрекаю, нет. Я – тень, призрак, плод воображения. Будь я настоящей, живой, я вряд ли бы вообще затеяла этот разговор.

«Всё время Медведева почему-то говорила на тему, что я обязан сделать что-нибудь для театра, что мое имя должно быть в истории. Не знаю, для чего она это говорила...»

Медведева, кивнула тень. Ты хочешь, чтобы я ревновала тебя к ней? Обиделась, потому что ты обсуждаешь наши семейные проблемы с чужой женщиной? Твои желания – открытая книга для меня.

«...но мне показалось, что она как будто догадывается о моем намерении или охлаждении к театру...»

Я обессилена, сухо произнесла тень без малейших признаков аффектации. Не от ревности к театру, нет, а от переутомления. На фабрике и в конторе требуют твоей активности. А ты запутался, ты ужасно перегружаешься и устаёшь. Когда я уезжаю с детьми в Андреевку, к твоему брату, ты пишешь мне: «В разлуке не могу даже думать о театре!» Мчишься к нам, приезжаешь, пьёшь чай на веранде, и с этой минуты больше ни о чем не думаешь, кроме как о театре или производстве. Ты есть, но тебя нет. Наверное, мне легче, когда тебя нет. Тогда мне кажется, что ты все-таки есть. Я расчесываю волосы по утрам, выхожу на двор к колодцу, склоняюсь над бревенчатым срубом – «Эй, старый Никельман, взойди же кверху!» – и вижу, как ты поднимаешься на по-

верхность, брызгливый и целиком поглощённый самим собой, будто Водяной у Гауптмана.

– Брекекекс! – вздохнул Алексеев. – Кворакс, квак, квак, квак!

Он не знал, что уже спит.

Глава третья

«Только на вас вся надежда!»

1

«Пр-р-рекр-р-ратить!..»

До поезда оставался ещё добрый час, когда Миша Клёст, деловито отблёскивая плоскими стёклышками пенсне, вошёл в здание вокзала. В губернский город X Миша приехал неделю назад, и за это время на вокзале ничего не изменилось. Залу загромаждали лабиринты строительных лесов, сплошь в извёстке и засохших потёках цементного раствора, похожих на окаменелые наросты лишайника. Огни свечных фонарей и керосиновых ламп, казалось, парили в воздухе под потолком. В глубине залы они сливались в сплошное мерцающее сияние, как поминальные свечи в церкви. С недобеленых небес по лесам спускались на грешную землю ангелы – усталые, измаранные, в облике рабочих, закончивших вечернюю смену. Пассажиры и провожающие всех сословий, носильщики с баулами и чемоданами, служащие в путевых мундирах – хаотические потоки двигались, текли, пенились. Гул голосов, шарканье ног, кашель, ругань. В отдалении пиликнула скрипка; сбилась, умолкла...

«Откуда столько народу? – подивился Миша. – Да ещё на ночь глядя?!»

За тридцать четыре года, прожитых милостью Божией, ему довелось немало поездить. Клётс выучил назубок, как «отченаш»: к ночи жизнь на вокзалах – кроме, быть может, пары столичных – замирает. Дежурный кассир, тройка пьяных сторожей, нищая побирушка спит, кулём тряпья при-ткнувшись у стены, и больше ни арапа не сыщешь. Ах да, крымский поезд. Видно, не один Клётс собрался на юг. В ночное время поезда ходили редко, буквально единицы, особенно зимой, в бураны, но тот, которым Миша намеревался покинуть город, числился в списке исключений. Такой уж маршрут: когда поезд ни пусти, всё одно ночь зацепит.

Потянуло сквозняком, от холода начало ломить затылок. Миша втянул голову в плечи, поёжился и стал решительно пробираться к кассам. Ничего, Оленька, ничего. Уже скоро. Всё закончится, сыграем свадьбу, в Европу съездим, как ты хотела. Италия? Пусть будет Италия. Вернёмся – заживём как люди. Ты, главное, дожись меня, Оленька...

Дородный господин в бобровой шубе отчалил от кассового окошка. Трубно сморкаясь в клетчатый платок, размером годный для церковной хоругви, он спрятал за пазуху картонный прямоугольник билета, и Миша занял место «бобра». Сунул нос в окошко:

– Добрый вечер, любезный. Мне первый класс на крымский.

– Брекекекс! – квакнул кассир по-жабы.

И выкатил на Мишу белёдые студенистые буркала из-под козырька форменной фуражки.

– Что, простите?!

Блик света мазнул по пенсне. Почудилось: жаба-кассир – мёртвый телефонист из Волжско-Камского. Клёст попятился, знобко передёрнув плечами.

– На крымский билетов нет, извините.

Усталое лицо, оплывшее, как свечной огарок. Скорбные складки вокруг губ. Редкие бровки, водянистые глазки. Никакой не телефонист, даже не похож. И не жаба, разумеется. Примерещится же такое!

– Если первого класса нет, давайте второй.

– Никаких нет.

Для пущего понимания кассир развёл руками.

– Третий?

– Совсем никаких. Разобрали.

– А на когда есть?

Подступило раздражение. Учинить скандал? Привлечь к себе внимание? Нет, никак нельзя. Вокзалы патрулировались «бляхами» – нижними чинами железнодорожной жандармерии. Нарушитель «порядка и благочиния» имел все шансы загреметь до утра в кутузку, чего Миша допустить никак не мог. Объяснить стражам порядка, почему его сак-воляж доверху забит ассигнациями, не сумел бы и сам Иоанн Златоуст.

– Минуточку...

Кассир зашелестел бумагами. Клёт терпеливо ждал. За ним уже выстроилась очередь – человек шесть-семь. Люди перешёптывались, в их гомоне Клёт слышал осуждение. Для позднего времени очередь была явлением удивительным, чтобы не сказать, экстраординарным. Нервничаю, сказал себе Миша. Надо успокоиться.

– Вам на крымский?

– Желательно.

– Он через день ходит. Послезавтра следующий.

– Бог с ним, с крымским. Какие ближайшие есть?

По большому счёту, Мише было всё равно, куда ехать. Москва, Петербург, Киев... Да хоть в Тамбов или Ростов! Поскорее бы убраться отсюда, а там – лови ветра в поле! Нет, в Ростов, пожалуй, не стоит. Там Клёста могли помнить и опознать.

– Значит, ближайшие. На какие направления?

– Любые! – рыкнул Миша.

И сразу об этом пожалел. Нельзя показывать, что тебе кровь из носу нужно покинуть город. Вряд ли сюда докатилась весть об ограблении, и тем не менее. Клёт приятно улыбнулся, желая сгладить впечатление, и собрался было уточнить, какие направления его интересуют, но не успел.

– Ах ты курва!

Смачный звук оплеухи.

– Я курва?! Ракло поганое!

Миша обернулся исключительно вовремя. Секундой раньше каменщик, могучий детина в свитке из домотканого валяного сукна, вдрызг изгвазданной раствором, от всей рабочей души заехал кулаком в рожу ледащенькому мужичку в драном тулупе. Мужичок, бухой в хлам, майской ласточкой улетел к кассам, и не посторонись Миша, пьяница сшиб бы его с ног. Каменщик и сам не устоял, врезался боком в опору ближайших лесов. Вавилонская башня опасно зашаталась, грозя миру новым смешением языков и рассеянием народов. Сверху посыпалось всякое: засохший цемент, рукавицы из брезента, малярная кисть, изразцы с отколотыми краями. Кувыркнулось вниз мятое ведро, расплёскивая грязную муть на почтенную публику. Отчаянно завизжала дама – отвратительный дождь испортил ей новенькую шубку из чернобурки – и с размаху стукнула каменщика по голове своим ридикиюлем:

– Хам!

Каменщик обернулся, ещё не зная, кому обязан тумачком, занёс кулак, но пьяница к тому времени воспрял, восстал из мёртвых и вихрем налетел на обидчика. Матерясь басом и фальцетом, свитка с тулупом сцепились, рухнули под ноги даме, визжавшей как резаная, без пауз. Ридикиюль на длинном ремешке превратился в заправский кистень, гуляя по спинам и плечам. Купец с сыном попытались урезонить даму, за неё вступился франтоватый кавалер: жгучий брюнет

без шапки, в клетчатом дафлките¹⁷. Франт оказался малый не промах, его тяжелая трость быстро заставила урезонщиков отступить, держась за ушибленные места. Каменщика и пьяницу, катающихся по полу, тем временем разнимали все, кто только вертелся рядом, и разняли бы, да пьянице на подмогу, за версту разя перегаром, подоспели двое приятелей-собутыльников. Быть бы работяге биту нещадно, но братья-строители, проявив трудовую солидарность, бегом вернулись от центрального входа и вступились за своего.

– Ы!

– А-а!

– М-мать...

Драка стремительно разрасталась. В водоворот мордобоя, бессмысленного и беспощадного, вовлекались всё новые участники. Минута, другая, и никто уже толком не понимал, с кем дерётся и из-за чего. Вавилонская башня устояла, люди в свитках и шубах, пальто и тулупах, шинелях и армяках, позабыв о сословиях и условностях, вновь обрели единый для всех, понятный каждому язык: язык пинка и зуботычины, оплеухи и тумака.

Кассир в окошке весь извёлся: пытался извернуться, хоть краем глаза увидеть сей спектакль. Миша и очередь за билетами заслоняли ему обзор. Когда же наконец мечта кассира сбылась, он стал белей извёстки, захлопнул железную дверку на окошке кассы, выкрашенную унылой и серой, как касси-

¹⁷ Однобортное шерстяное пальто с капюшоном.

рова жизнь, краской – и щёлкнул задвижкой, торопясь отгородиться от светопреставления.

– Пр-р-рекр-р-ратить!..

– ...безобр-р-разие!

– Р-р-разойдись!

И знакомым контрапунктом – пронзительные трели свистков.

Со стороны перрона через залу спешили железнодорожные жандармы – полудюжина усатых молодцев в шинелях поверх синих мундиров, при саблях и револьверах. Штафирка¹⁸, не нюхавший пороху, легко мог спутать жандармов с уланами или драгунами – им полагалась форма со всеми атрибутами кавалерии, кроме разве что шпор. Нижним чинам не так давно вышло послабление: при обходе участка им разрешили шпор не носить. Одинаковые, как на подбор, словно витязи из сказки Пушкина, служители порядка выпячивали грудь, демонстрируя городу и миру бляхи с личными номерами и названием управления.

В железнодорожную жандармерию абы кого не брали. Помимо прямых обязанностей, куда включался обход участка пешком, в любое время года, такой добрый молодец должен был уметь развести пары в депо, проделать все маневры на паровозе, после чего взять состав и вести поезд, пассажирский или товарный.

Встреча с витязями в планы Миши не входила. Сейчас

¹⁸ Штафирками военные презрительно называли штатских.

начнут вязать кого ни попадя, остальных потащат в свидетели – нет, на вокзале оставаться было нельзя. Скользнув по краю кипящего человеческого месива, Клёст оставил драку между собой и жандармами. Отвлекая внимание от Миши, драчуны азартно мутузили друг дружку; охали, кричали, вскрикивали, матерились, хватались за расквашенные носы, остервенело били в ответ. Пару раз Клёсту пришлось уворачиваться от случайных ударов, а один раз он даже пнул в колено излишне ретивого буяна, имевшего к Мише несомненные претензии. Захрамав, буян отстал и вскоре сгинул в толпе себе подобных.

Всем телом толкнув тяжёлую дверь, Миша вывалился наружу – и земля ушла у него из-под ног. Не земля, конечно – обледенелые ступеньки. Звёзды над головой крутнулись за лихватским калейдоскопом, и Клёст чувствительно приложился копчиком об лёд.

Саквояж, впрочем, не выпустил.

Поднялся Миша с некоторым усилием. Держась за пострадавшую часть тела и соблюдая превеликую осторожность, он двинулся прочь от вокзала. Миновав особо скользкий участок, остановился, достал из внутреннего кармана пальто серебряный портсигар, набитый папиросами «Дюшес». Чиркнул спичкой, прикурил и стоял с минуту, вдыхая табачный дым. Ничего ведь не случилось? Ничего. Не удалось уехать сегодня? Уедем завтра. Послезавтра, в конце концов. Всё в порядке. Он ничем себя не выдал. Если что – только с поез-

да, вот, едва из вокзала вышел.

Чин чинарём, и козырный туз сбоку.

Миша поднял было руку, желая позвать извозчика, но раздумал. Гостиницы уже закрыты: постояльцев ночью не принимают. Где же встать на ночлег? Вернуться к старухе, у которой снимал угол, когда готовил ограбление? Нет, к старухе нельзя. Старая карга и не признает в элегантном господине своего занюханного постояльца. Удивится, начнет чешать языком, соседки подхватят...

Да-с, проблема.

2

«Вы же хорошо спали?»

Пропала зубная щетка.

Алексеев ясно помнил, как вчера перед сном достал из саквояжа бархатный мешочек, в котором обычно возил средства личной гигиены, и вынул оттуда брусочек миндального мыла фабрики Ладыгина, зубную щётку и круглую жестяную коробочку с «лучшим в мире зубным порошком Маевского, укрепляющим десны и придающим зубамъ снѣжную бѣлизну». Последним Алексеев извлѣк стаканчик из тонкого мельхиора, отнёс туалетные принадлежности в ванную комнату и расставил на девственно пустой полочке, прибитой под стенным зеркалом. Почистив зубы, он отправился в кабинет и больше его не покидал, если не считать краткий выход по малой нужде.

Все эти подробности, излишние в каком-либо ином случае, вставали перед внутренним взором Алексеева, когда он, придя в ванную утром, смотрел на полку – и не видел ни стаканчика, ни щётки, ранее стоявшей в мельхиоровом гнёздышке.

– Что за чѣрт? – вслух произнес Алексеев.

Допустить, что щётку украли приживалки, он не мог. В здравом уме – нет, не мог. Ради стаканчика? Мельхиор дешёв, стоит сущие копейки. Решили, что серебро? Бред,

чушь, пустые домыслы! Стаканчика было не жалко, а вот щётки – напротив. Щётку Алексеев в прошлом году привёз из Парижа: костяную с барсучьей щетиной. Свиная щетина была для Алексеева слишком жёсткой и обдирала эмаль, конский волос – слишком мягким, из-за чего плохо чистил, а вот барсук – в самый раз.

Был в самый раз, пока не спёрли.

Хотелось кого-то обвинить. Так хотелось, что всё алиби приживалок, озвученное адвокатом-разумом, судья-злость выкидывал в мусорную корзину. На каторгу, на Сахалин! Хорошее настроение улетучилось, навалилось раздражение, легло на плечи тяжелой, дурно пахнувшей тушей. Квартира показалась тюрьмой, обузой, пятым колесом у телеги. Жаль, подумал Алексеев. Спал как младенец, встал бодрым, в прекрасном расположении духа, и вот нате вам!

«Чищу зубы пальцем. Всё равно выбора мне не оставили. Чищу, одеваюсь, съезжаю с квартиры, перебираюсь в отель. По дороге куплю новую щётку...»

В дверь постучали.

Сперва Алексеев решил, что стучат в дверь ванной, намекая на длительность пребывания. Но когда стук раздался во второй раз, понял – кто-то стоит на лестничной площадке, по ту сторону входной двери. Приживалки откроют? Стук не прекращался: деликатный, но настойчивый. Мамаша Лелюк будто сгинула, дочь – тоже, хотя Алексеев, направляясь в ванную комнату, слышал, как они возятся у себя в каморке.

Открыть? Похоже, придётся.

Алексеев порадовался, что одет – боясь смутить женщин, он отправился умываться в брюках и рубашке. Тапки, правда, обуть забыл. Было бы неловко предстать перед неожиданным визитёром в пижаме! Прошлёпав босиком через весь коридор, он сбросил цепочку, отпер замок и широко распахнул дверь, задним числом сообразив, что вполне мог бы врезать гостью дверной створкой в лоб.

К счастью, обошлось.

– Доброе утро! Вы позволите?

– Д-да, пожалуйста...

Алексеев посторонился, и гость вошёл в квартиру. Был он без верхней одежды, тоже в брюках и рубашке, хотя и обут, в отличие от Алексеева. Сосед, предположил Алексеев. Немного смушал длинный кожаный фартук с накладным карманом по центру. Для образа добродушного уживчивого соседа, какой сложился у Алексеева при взгляде на гостя, фартук был излишним.

– Как спали, Константин Сергеевич?

– Отлично.

– А я смотрю, вы не в духе.

– Так, пустяки. Зубная щётка пропала.

«Вы меня знаете? – хотел спросить Алексеев. – Откуда?»

И не спросил, поддавшись обаянию гостя. Вместо этого зачем-то пожаловался на исчезновение злополучной щётки, хотя еще миг назад и предположить не мог, что станет де-

литься интимными подробностями с чужим человеком.

– Пропала? – заинтересовался гость. – А где стояла?

– В ванной, на полочке.

– Значит, на полочке... Извините, забыл представиться: Ваграмян. Сапожная мастерская Ваграмянов, второй этаж. Ашот Каренович, к вашим услугам. Если какая нужда в ремонте обуви, обращайтесь без стеснений. Сделаем в лучшем виде, как родному.

Ашот Каренович с улыбкой смотрел на босые ноги Алексева. Алексей почувствовал, как его собственный рот расплывается в ответной улыбке.

– Спасибо, учту. Вы, должно быть, к госпоже Лелюк?

– Нет, я к вам.

– Ко мне?

– Разумеется. А ну, покажите мне, откуда сбежала ваша шустрая щётка!

– Прошу за мной.

В ванной комнате, встав перед зеркалом, сапожник долго и придирчиво изучал предметы, расставленные на полке. Предметов было всего два, мыло да порошок, но Ашот Каренович переводил взгляд с одного на другое раз десять, не меньше. Затем он поскрёб зеркало жёлтым ногтем и указал себе за спину:

– Вон ваша щётка, не извольте беспокоиться.

Алексеев проследил за указующим перстом и обнаружил мельхиоровый стаканчик на краю чугунной ванной, прямо

у стены. Рядом проходила вертикальная труба водопровода, выкрашенная белилами, и стаканчик терялся на её фоне, превращаясь в невидимку.

– Я его туда не ставил. С чего бы это я, а?

Я что, оправдываюсь, подумал Алексеев. Объясняюсь? С сапожником со второго этажа?! Какая разница, кто поставил стаканчик на край ванной?! Надо поблагодарить, всё-таки он нашёл мою щётку...

– Не стоит благодарности, – сапожник почесал верхнюю губу, украшенную полоской щегольских, аккуратно подстриженных усов. Движение было знакомым: точно так же ноготь скрёб зеркало, вернее, лицо Ваграмяна, отразившееся в зеркале. Складывалось впечатление, что сапожнику без разницы, что чесать – себя или отражение. – Пустяки, право слово.

Кажется, Ашот Каренович был чем-то недоволен. Жестом он указал на щётку, и Алексеев, даже не успев сообразить, что делает, взял стаканчик и вернул обратно на полку, на прежнее место. Затем наклонился, устремил взгляд в мойку, будто в колодец, и позвал высоким, похожим на женский голосом:

– Эй, старый Никельман, взойди же кверху!

После чего сменил голос на хриплый баритон:

– Брекекекекс! Мартышка ты, ну прямо обезьяна! Желток яичный, пигалица, славка! Птенец ты: квак!

– Bravo! – Ашот Каренович заплодировал. – Кто это?

– Фея Раутенделейн и водяной Никельман. Подозреваю,

именно Никельман и прикарманил мою щётку. С него, знаете ли, станется.

– Водяной? А что, вполне может быть.

Сапожник просиял, с нескрываемым озорством подмигнул Алексееву – и они вышли в коридор, немного подзастряв в дверях: пропускали друг друга вперёд. Настроение стремительно улучшалось, Алексеев даже не раздражался тем, что беседует с сапожником, будучи неумытым, и изо рта, вероятно, пахнет. Хотелось вести себя по-свойски, без церемоний, хотя с людьми Алексеев обычно сходилась не лучшим образом, выдерживая дистанцию.

– Вас устроили на ночь в кабинете?

Алексеев развёл руками: да, мол, есть такая буква.

– Это правильно.

– Почему?

– Вы же хорошо спали? Ну и чудесно. Позвольте?

В кабинете Ашот Каренович пробыл недолго. Отодвинул к окну свободный стул, раздернул шторы и попросил Алексеева переставить саквояж с пола на стул. Алексеев спорить не захотел. Впрочем, на стуле саквояж и впрямь смотрелся гораздо лучше. Рыться в нём также стало не в пример удобнее. Алексеев ещё отметил, что играй он роль приезжего, он бы и сам сперва поставил саквояж на пол, затем передумал, воспользовался бы стулом – короче, занял бы себя мелкими действиями, которыми легче лёгкого подчеркнуть общий настрой сцены: утро, лень, мелкое раздражение, бытовые пу-

стяжи, возвращение спокойствия...

В квартире было очень тепло. Топили превосходно, на зависть.

– Вот теперь всё как надо, – сапожник сверкнул белыми зубами. Говорил он с гортанным акцентом уроженца Кавказа, но слабым, почти незаметным, если не вслушиваться. – Мой поклон Неониле Прокофьевне. Моё почтение Анне Ивановне. Разрешите откланяться?

– Д-да, конечно...

Закрыв двери за Ашотом Кареновичем, Алексеев долго стоял, не спеша продолжить утренний туалет. Он никак не мог взять в толк, зачем Ваграмяну передавать привет и почтение женщинам через него, Алексеева, человека в общем-то случайного, если мамаша с дочерью наверняка знакомы с обаятельным сапожником, и знакомы ближе всех Алексеевых в мире, какого ни возьми?

Он прислушался. Шорох в каморке стих, женщины сидели тише мыши. Боятся, предположил Алексеев. Кого? Чего? Неужели Ваграмяна?! Алексеев восстановил в памяти облик Ашота Кареновича и с опозданием сообразил, что сапожник похож на отца Алексеева. Если сбрить усики, а волосы полностью высветлить сединой... Да, ещё слегка увеличить нос. Тяжелые брови, строгий, но доброжелательный взгляд. Крупные черты лица, тень под нижней губой. Волевой подбородок, морщины намечены тончайшим резцом; под глазами – еле заметные мешки. И возраст, наверное, одинаковый;

вернее был бы одинаковый, если сравнивать Ваграмяна-нынешнего и Алексева-былого, потому что мертвые не стареют.

«Это беспочвенные мечты.»

В начале девяностых – отец Алексеева называл это время «лихими девяностыми» – доход товарищества начал резко падать. Оборудование фабрик безнадежно устарело, конкуренты – местные, а тем паче иностранцы – давили на всех фронтах, технологиями и дешевизной. Желая любой ценой отсрочить крах, а лучше – вернуть товариществу былую славу, Алексеев со всей бесшабашностью завязаного театрала примерил на себя необычную для него роль промышленного шпиона. Весной девяносто второго, когда дороги просохли, а поезда, выбравшись из снежных заносов, наконец-то стали соблюдать расписание, он отправился за границу – сперва в Мюльхаузен, на знаменитые фабрики Шварца и Венинга, затем в Лион, мировой центр золотоканительной промышленности. Предлогом такой поездки стало согласование совместной работы над крупным заказом, настоящей же целью было разведывание секретов лучших предприятий Европы.

В Лионе Алексееву пришлось туго: скрытность местных фабрикантов вошла в поговорку, получить официальное разрешение на осмотр не удалось. Осматривать машины он мог лишь потихоньку, во время дневного отдыха мастеров, ежеминутно рискуя разоблачением. Не брезговал и подкупом: лучшей отмычкой всех замков. Из Парижа Алексеев

написал старшему брату:

«Все, кажется, устроилось очень хорошо, и по приезде в Москву я буду знать все, и даже больше. Теперь меня уже не удивляют баснословно дешевые цены заграничных рынков. Папаня поймет, какого прогресса достигли здесь в золотоканительном деле: я купил машину, которая сразу тянет товар через четырнадцать алмазов. Другими словами: с одного конца машины идет очень толстая проволока, а с другого – выходит совершенно готовая. Мастер работает на четырех машинах сразу и производит в день сорок kilo – т. е. два с половиной пуда, тогда как у нас он вырабатывает в день фунтов десять при самых благоприятных условиях. Узнал также, как можно золотить без золота – и много, много других курьезов. Очень этим доволен и надеюсь, что по приезде мне удастся поставить золотоканительное дело так, как оно поставлено за границей. Надеюсь, что тогда это дело даст не одиннадцать-двенадцать процентов, а гораздо более.»

Рекордом прежней волоочильной техники, принятой в Товариществе, была протянутая сквозь каленую стальную волоку красномедная нить «такой тонины, что на один пуд ее приходилось до семисот верст длины». Машина, приобретенная Алексеевым во Франции, била этот рекорд, как Джеймс Корбетт – Джона Салливана в поединке за титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Джебб, свинг, хук с левой, нокаут – нить, выходящая из «француженки», получалась вдвое тоньше.

Спустя месяц удачливый шпион привёз в Москву план технической реорганизации производства, призванный вывести фирму на передовые позиции в мире – семнадцать страниц деловых предложений и расчётов. И что же? На вокзале Алексеева встретил его близкий друг Федотов, антрепренер Малого театра:

– Константин Сергеевич! Отец родной!

– В чем дело? – не скрывая раздражения, поинтересовался Алексейев.

Дорога утомила его. Домой, скорей домой, в Любимовку: горячий чай, укутать ноги пледом... С Федотовым они были на «ты», и внезапная церемонность не сулила добра.

– Все пропало! Только на вас вся надежда!

– Да что пропало?

– Южин слёг!

Как выяснилось из дальнейшей речи антрепренера, сбивчивой и перемежаемой рыданиями, Малый театр в эти дни гастролировал в Рязани. Давали «Счастливец», поставленного по пьесе модного драматурга Немировича-Данченко. Актёр Сумбатов, выступавший под сценическим псевдонимом Южин, играл художника Богучарова – и нате-здрасте, свалился с инфлуэнцей.

– Только вы! Никто иной, как вы!

– Да что я, в конце концов?

– Замена! Кто заменит, если не вы?

– Прямо с колес? Без репетиций?!

– Вот я и говорю: кто, если не вы?

– А как же ваша матушка? – с нескрываемым злорадством напомнил Алексеев, подчеркивая голосом чопорное слово «ваша». – Не она ли, драгоценная Гликерия Николаевна, мне говаривала: «Не знаете, батюшка, с какого конца начинать. А учиться не хочется, да! Нет тренировки, выдержки, дисциплины...»

Антрепренер пытался возразить, но Алексеев не позволил, наслаждаясь мелкой, но такой приятной мезью:

– Я её науку на всю жизнь запомнил: «Нынешние артисты все больше сложа руки сидят и ждут вдохновения от Аполлона. Напрасно, батюшка! У него своих дел достаточно.»

– Так матушка и другое говорила, – не остался в долгу Федотов. – Помните? «Играйте почаще с нами, батюшка, – мы вас и вымуштруем.» А?! Играйте с нами почаще...

Этим же вечером Рязань рукоплескала Алексееву, вышедшему на сцену в роли Богучарова. К счастью, Алексеев не слышал тех слов, которые произнес его отец в частной беседе с ещё одним Алексеевым – Николаем Александровичем, московским градоначальником. Присутствуя он при этом разговоре, весьма горячем, надо сказать, и настроение его крепко подпортилось бы. Не слышал он и ответа Николая Александровича, своего двоюродного брата:

«У Кости в голове не то, что нужно.»

В Любимовке тайком плакала жена Маруся, баюкая годовалую дочь. Она ждала мужа не меньше, если не больше, чем

свёкор ждал сына. Она так и заснула в слезах, прижимая к себе дочь, и во сне видела сцену – чёрный зев хищника, поживавший семейное счастье.

Впрочем, аплодисменты публики стали Алексееву слабым утешением. В Рязань его, утомленного заграничным путешествием, повезли во втором классе. Пьесу дали, но роль не лезла в голову – отвлекали вагонный шум, болтовня, суета, бесконечная ходьба пассажиров. Ломило затылок, от волнения сжималось сердце. Уединиться в Рязани не получилось: играли в полковом клубе, на маленькой любительской сценке. Вместо мужских и дамских уборных – единственная комната, разгороженная ширмами, и актерское фойе, где был накрыт чай с самоваром. Здесь же, услаждая слух зрителей, занимающих места, бил в барабаны и трубил в трубы военный оркестр. Марши, марши, ничего кроме маршей. Голова разболелась окончательно, играть пришлось под суфлера, который, к счастью, оказался выше всяческих похвал. Выход к публике сопровождался свистом: ждали Южина, а дождались не пойми кого. Алексеев даже ушёл за кулисы, дал себе торжественную клятву без промедления вернуться в Москву, гори «Счастливец» синим пламенем, выругался злым шёпотом – и вышел на сцену опять.

Ничего, отыграл. Больше не свистели, напротив, хлопали. После спектакля труппа уехала на станцию, но к поезду опоздала. Заночевали в Рязани, ужин экспромтом устроили поклонники. У Алексеева стучало в висках, ноги под-

кашивались, кровь отхлынула от лица. Со всей возможной искренностью он завидовал Федотовой – актриса годилась Алексееву в матери, но при этом была свежа, подтянута, разговорчива. Боже мой! Она даже кокетничала с офицерами, не разбирая чинов, и молоденькие поручики, а с ними и седые полковники распускали павлиньи хвосты от стены до стены. Каждый считал своим долгом поднести Гликерии Николаевне чаю с мёдом, и она к вящему изумлению собравшихся хлестала стакан за стаканом, лишь бы погорячее. От спиртного, впрочем, отказалась, приняв лишь рюмочку коньяка эриваньского завода Нерсеса Таирянца.

– Я из-за границы, – зачем-то объяснил Алексеев Федотову-младшему.

Оправдываться было нелепо, да и не за что. Напротив, вся труппа должна была благодарить его за подмену Южина. Следовало промолчать, жаль, не получилось.

– Я месяц в дороге. Я устал.

Федотов криво улыбнулся:

– Мама больна, – он пожал плечами: мол, всякое бывает. – У нее тридцать восемь градусов температуры. Инфлюэнца, третий день. Полагаю, от Южина заразилась.

Тренировка, подумал Алексеев. Краска стыда залила ему щеки, миг назад белые как мел. Выдержка. Дисциплина. Вдохновение от Аполлона? Напрасно, батюшка! У Аполлона своих дел достаточно.

Дома его ждали десять казней египетских. Отец бушевал,

усадьба сотрясалась от его справедливого гнева. Любимовку впору было переименовывать в Головомоевку. Спасли актёрствующего шпиона пресловутые семнадцать страниц – план реорганизации производства.

– Слияние, – громко произнес Алексеев.

Вклиниться в отцовский монолог ему удалось с трудом.

– Что – слияние? Какое ещё слияние?!

– Слияние с нашими основными конкурентами. Я говорю о компании Вешнякова и Шамшина...

– Продолжай.

Отец внезапно успокоился.

– Оснащение фабрики современными машинами, – развивал успех Алексеев. – Освоение производства позолоченной нити. Она выглядит, как золотая, при этом стоит гораздо дешевле.

– Я тебя слушаю.

– Перестраиваем старые цеха...

– Для этого понадобится новое здание.

– Двухэтажный корпус. Котельную и кузнечную мастерские размещаем отдельно.

– Почему отдельно?

– Они шумят и загрязняют воздух. Далее мы радикальным образом меняем технологию волочения и покрытия изделий благородными металлами. Новые машины обеспечат нам снижение себестоимости продукции и увеличение производительности труда.

– В два раза? В три?

– В десять.

– Это беспочвенные мечты.

Взгляд отца противоречил сказанному. Глаза его уже горели огнём, хорошо знакомым сыну.

– Осваиваем новые рынки, – Алексеев сделал вид, что не расслышал. – Персия, Турция, Индия, Китай. Мода на золотое шитьё у них устойчивей пирамид.

– Рассмотрим на правлении, – буркнул отец. – Там и решим, сможешь ли ты, шалопай, впоследствии возглавить семейное дело.

Возглавить, подумал Алексеев. Когда ещё это будет?

– Вот увидишь, – он хлопнул отчётом по столу, – это непаханое поле...

Урожая, взращённого на этом поле, отец не увидел. Он застал самое начало пахоты: расчеты, сметы, закладка фундамента нового здания. Спустя полгода после рязанских гастролей, в январе девяносто третьего, Сергей Алексеев-старший – потомственный почетный гражданин, коммерции советник и директор правления промышленного торгового товарищества «Владимир Алексеев» – скончался в возрасте пятидесяти семи лет.

«Мартышка ты, ну прямо обезьяна!»

– Здесь останови.

– Та шо ж вы, пан ясный? Бачь, яка ожеледь, га?! Я, ить, вас до самòго вокзалу відвезу!

– Сказал – здесь сойду.

Миша Клєст глянул по сторонам, заприметил на краю площади магазин готового платья и соизволил пояснить:

– В дорогу кое-что купить надо.

– О, тоді зовсім інша справа, – извозчик сдал назад в прямом и переносном смысле слова. С ловкостью, выдававшей большой опыт, он натянул вожжи, вынудив лошадь совершить воистину балетный пируэт, и в снежном вихре подогнал сани ко входу в магазин. – Тільки вы обережненько, га? Як потім через леваду, тьху ты, через площу підете, стережыться! Бачылы, ить, як склызько?

Подтверждая сказанное, на площади случился казус: баба с двумя кошёлками грохнулась на лёд. Толстые ноги в валенках взлетели выше головы, закутанной в платок так, что она напоминала кочан капусты. Из кошёлок посыпалась купленная на рынке снедь.

У Миши заныл ушибленный вчера копчик.

– Благодарю за заботу, голубчик. Вот, держи.

– Ить, дякую, пане...

Щедро расплатившись с извозчиком, Клёст выбрался из саней и направился к магазину. Встал, делая вид, что изучает манекены в витрине. Ничего покупать он не собирался. После бессонной ночи в голове, как в мятом ведре, тяжело бултыхался раствор цемента. Колени подгибались, взгляд мутился, мир вокруг подёргивался туманом, уплывая вниз по течению, и вдруг прояснялся, делался неправдоподобно резким, звонким. Болели глаза, ломило в висках. Мишу бросало то в жар, то в холод. Заболеваю, с вялым беспокойством подумал Клёст. На здоровье он не жаловался, уже и забыл, когда болел в последний раз. И вот нà тебе! – одна ночь без сна, и раскис, как мартовский сугроб под солнцем.

Ночь он провёл в трактире. К гулянкам до утра здесь привыкли, никого не гнали – лишь бы клиент ел-пил да по счёту платил. Приличное заведение сыскалось в Гостином дворе, в полчаса ходьбы от вокзала – Миша решил пройтись, а когда передумал, не нашёл извозчика. Народу в трактире оказалось немного: в центре гуляла компания бородатых купцов, каждую минуту требуя то водки, то холодца с хреном, то бараний бок; через два стола от них сосредоточенно напивался чиновник средней руки – дымил папиросой, уставясь в одну точку, потом наливал стопку из ополовиненного штофа, вицеживал мелкими глоточками, не меняясь в лице, и снова замирал аллегорией вселенской скорби. Из закуски у чиновника имелось блюдце солёных груздей, да и к тем он едва притронулся.

Клёст занял столик в дальнем углу, пристроил саквояж под ногами и спросил гусиный choucroute garnie, малый графин водки и холодных закусок на усмотрение. Принесли грузди, как чиновнику, селёдку с луком, запотевший графинчик. Первая рюмка пошла ласточкой. Закусив груздем, Миша закурил и откинулся на спинку полукресла. С утра на вокзал, взять билет куда угодно – и прощай, губернский город X. Пересадка, другая – и здравствуй, Оленька, здравствуй, новая жизнь!

Потом был choucroute garnie – под звучным названием крылась миска квашеной капусты с кусочками тушёной гусятины, шпиком и сардельками; были вареники, которые Клёст заказывать не собирался, но почему-то заказал; был горячий чай – топили в ресторации хорошо, но Миша никак не мог согреться. Особенно зябли уши – хоть водкой их растирай, право слово! Был второй графинчик, затем ему предложили комнату с девочкой, но Миша отказался – знаем мы ваших девочек, проснёшься утром, а саквояж тю-тю! От комнаты без девочки он тоже отказался, а к утру решил, что зря.

Всё равно ведь заснул, прямо за столом.

Никто его не побеспокоил, и саквояж был на месте. Голова гудела – не столько от водки, сколько от дурного сна. Что ему снилось, Миша не помнил, но свято верил – дрянь. Его знобило, Клёст выпил горячего чаю, расплатился и выбрался на улицу. Пора было убираться из города к чёртовой матери.

Лихорадка лихорадкой, а суматоху у вокзала Миша угля-

дел загодя, от магазина. Как и не было ночи, всё вчерашний вечер на веки веков, аминь. Кучками толпились зеваки: переминались с ноги на ногу, сплетничали, курили, мешая морозный пар изо ртов с табачным дымом. Сновали жандармы и полицейские чины: одни торопились в здание, другие выбегали навстречу, перебрасывались скупыми репликами и спешили дальше. Кого-то допрашивали прямо на улице, возле обледенелых ступенек. Трое городских в шинелях солдатского образца и мерлушковых шапках, чёрных с красными кантами, прохаживались туда-сюда с показной ленцой, демонстрируя служебную бдительность. Из боковых дверей вышел какой-то совсем уж важный чин, оправил расстёгнутую, подбитую мехом генеральскую шинель, накинутую на плечи поверх мундира; жестом подозвал к себе жандарма...

Нельзя, понял Миша. Даже если эта свора и не по мою душу, на глаза им лучше не попадаться. Ну как остановят, начнут допытываться? Спросят документы? Предложат открыть саквояж? Бережёного Бог бережёт: если пошёл гнилой расклад, грех небо гневить, фарт силой ломать. Опыт подсказывал: в таких случаях куда верней затаиться, лечь на дно, переждать, пока всё уляжется. И тогда судьба оглянется, подмигнёт лукаво – лови момент, Клёст, лети вольной птицей, пока не передумала!

Брекекекс, решил Миша, закуривая.

– Брекекекекс! – согласилось отражение в витрине. – Мартышка ты, ну прямо обезьяна!

Свободной рукой Клёт потёр лоб. Брекекекс? Какой, к чертям собачьим, брекекекс?! Гостиница, конечно же, гостиница. Жар, понял он. У меня жар. Надо заехать в аптеку, купить ивовой коры. Выпью отвара, полегчает.

Глава четвертая

«Вас что-то смущает?»

1

«Но Заикина-то какова!»

Родись Лизонька Заикина на пять лет раньше, была бы ровесницей века.

От отца её, обывателя Петра Тимофеевича, умершего от чахотки, когда дочери не исполнилось и девяти, осталась характеристика, выданная околоточным надзирателем: «беспокойного характера, входил в неприличные звания суждения, имеет дух ябеды и расстраивает свое общество.» От матери, повивальной бабки, пережившей мужа всего на год, не осталось ничего, кроме принятых ею младенцев. Да, ещё хибара – от родителей малолетняя Заикина получила в наследство домишко в «мокром месте» у Горбатого моста – без фундамента, на две комнаты с кухней, с кудлатой сукой Трясцей в довесок.

Не на улице, под забором, и слава Богу.

Ну, раз такая комедия, значит, самое время для театра. Вернее, для глухого, заросшего бурьяном пустыря, пастбища лохматых коз, даже не подозревающего, что пришёл ему

срок быть Театральной площадью. Ещё при жизни родителей Заикиной здесь заканчивался город. Дальше шёл провиантский магазин, за ним – ров, и наконец – вал. Где же ещё ставить театр, если не здесь?

Tak, сказал поляк Калиновский. *Ja*, согласился немец Штейн.

И скинулись на постройку.

Лучшего времени, чем декабрь, для открытия театра не нашли. Храм Мельпомены – деревянная мазанка в три яруса с галереей – печей не имел, так что зрители, включая первых лиц города, сидели в шубах, шапках и калошах. «Зябнешь, бывало, – отмечала почтенная публика, – угораеть, зал тёмный, скучный. Здесь дует, там каплет свечным салом. И камня на колонны пожалели. Поставили столбы, окрасили белой глиной!»

Но это почтенная, что с неё возьмешь? Надо быть ближе к народу. Вот, к примеру, вертлявой девчонке Заикиной, тайком пробиравшейся на представления мимо билетёров и капельдинеров, театр казался раем Господним. Она так и сказала великому Щепкину, когда Михаил Семёнович в антракте спектакля «Москаль-Чарівнык» вышел на перекур. «Хочу, – говорит, – благодетель, в рай, актёркой. Дай дозволение!» Щепкин усмехнулся: «Рада душа в рай, да грехи не пускают! Малолетка ты, подрасти сперва!» Голенастая пигалица сморгнула, удрала бегом за кулисы и принялась там вольной волей шарудить, переставлять реквизит с места

на место. Даже на сцену выскочила, дрянь этакая, сальные
плошки в кучу сгребла. Её погнали взащей, она бегом к Щеп-
кину, а тот возьми и передумай.

Замолвил словечко, взяли Заикину в труппу статисткой.

Через пять лет ей дали роль в щепкинском бенефисе «На-
талка-Полтавка». Заикина к тому времени расцвела, нали-
лась плотью, но, видно, недостаточно – просилась в «Дон
Жуана», ей отказали. Порок, как известно, должен быть на-
казан: в финале трагедии с потолка на канатах спускалась ад-
ская фурия и увлекала соблазнителя в геенну огненную. Ге-
енна, между нами, вряд ли находилась на небесах, но спуск
фурии сочли куда более выразительным, чем явление снизу,
из-под дощатого пола. Заикина спала и видела себя фурией.
Узнав, что роль получила соперница, Лизка смолчала и даже
не попыталась выдрать гадине все волосы. Такая покорность
виделась подозрительной: ждали пакости. И пакость сверши-
лась: на премьере канаты перепутались, фурия подбитой ут-
кой кувыркалась в воздухе, тщетно пытаясь ухватить оша-
лелого Дон Жуана, и зал вторил этому цирку гомерическим
хохотом.

В дальнейшем фурию играла Заикина, без происшествий.

Шли годы, ребром вставал вопрос нового театра. За дело
рискнул взяться Людвиг Млотковский, актёр труппы Штейн-
на. В распоряжении пана Млотковского было всё – энтузи-
азм, поддержка коллег, уважение горожан. Всё, кроме суще-
го пустяка – денег. И Млотковский обратился к Заикиной,

на тот момент женщине зрелой, опытной, тридцати четырех лет от роду. Ясное дело, что деньгами Заикина его ссудить не могла, но про Елизавету Петровну в труппе болтали разное, и Людвиг, смурной от отчаяния, поверил. Заикина выслушала, поставила ряд условий, которые Млотковский принял, не чинясь, и кивнула: хорошо.

Неделю спустя купец Козьма Кузин, обуюн демоном филантропии, выдал ссуду на строительство театра – сорок тысяч рубликов, во как, судари мои!

Млотковский на радостях напился, проспался, похмелился и явился к Заикиной во второй раз. Рассыпался в благодарностях, как положено, и пожаловался, что город отказывает ему в участке земли. Заикина погадала ему на кофейной гуще, поскольку карт ещё не приобрела, и сказала, что было, что будет, чем сердце успокоится.

Спустя шесть месяцев городская дума согласилась ответить Млотковскому участок земли для строительства театра. Земля, правда, осталась собственностью города, с ежегодной уплатой налога в двести рублей, но Млотковский от счастья прыгал до потолка. Прыгал, прыгал и напрыгал первый в городе каменный театр на тыщу зрителей. Три яруса, шестьдесят лож, сотня кресел в партере, печное отопление – столицы от зависти прикусили языки. Сцена освещалась не сальными плошками, а керосиновыми лампами – светочами прогресса – и на сцене этой блистала Елизавета Петровна Заикина, любимая дочь муз.

Впрочем, блистать она начала с некоторой досадной задержкой. Архиепископ Смарагд наотрез отказался освящать театр, полагая сие заведение греховным чуть больше, чем сверху донизу. Млотковский кинулся к Заикиной, прося совета, та в помощи отказала – как бы Елизавета Петровна ни кудесила, с архиереем связываться не хотела – но дала совет. «Ты же поляк,» – напомнила она Млотковскому. Поляк, согласился тот. «Значит, католик?» Католик, да. «Ну и обратись к ксёндзу! – гаркнула Заикина. – А Господь сам разберёт, где свои, где чужие!»

Ксёндз прибежал чуть ли не бегом. Он так всегда бегал, когда выпадал шанс сделать что-нибудь в пику суровому архиепископу.

Первый сезон открыли в августе – в декабре пусть дураки открывают! – спектаклем в память актёра Волкова, по пьесе князя Шаховского. Заикина сыграла ни мало, ни много Её Императорское Величество, самодержицу всероссийскую Екатерину II, к которой, как многим было известно, актёр Волков хаживал в кабинет без доклада.

На банкете, устроенном в честь открытия, выпив шампанского, Заикина предрекла, что театр простоит триста лет, если снаружи останется прежним. Ей вняли: знали за Елизаветой Петровной умение глянуть в самую мякотку вещей. Реконструкции театра с тех пор устраивались каждые десять лет – зрители жаловались на плохую акустику и отсутствие фойе, актеры сетовали на тесноту гримерных – но перемены

затрагивали лишь внутренние части здания, фасад же оставался практически неизменным.

Когда в левом крыле театра решили обустроить кондитерский магазин Жоржа Бормана, дочь Млотковского – здание перешло к ней по дарственной записи – поступила с умом, первым делом обратившись к Заикиной. Борманы – это было серьёзно, их компания имела право наносить на этикетки государственный герб – двуглавого орла. Кроме престижа, это давало защиту от подделок – просто за подделку купец-мошенник отделялся штрафом, а за подделку герба шел на каторгу. По уму, следовало соглашаться, не раздумывая, но Заикина упёрлась – затребовала планировку магазина, с пристрастием допросила кондитеров, что где будет стоять. В итоге она всё-таки дала добро. В этот же год Заикина купила свою первую колоду карт – «малую девицу Ленорман» – а вскоре и вторую, «большую девицу», с «Наставлением для гадания складными картонками».

Играла она с этого времени всё реже, а гадала всё чаще. Роли сузились до амплуа комических старух, к засаленным «девицам» добавились «Испанец и амазонка», затем карты Таро, стремительно набиравшие популярность. Этой колодой Заикина гадала архитектору Михайловскому, который явился спросить: может ли он придать фасаду театра черты французского ренессанса? Заикина долго бродила по кабинету, перекладывая безделушки с места на место, потом раскинула карты и кивнула: можете, сударь мой!

Архитектор остался доволен, Заикина – тоже. Недовольной осталась только дочь Млотковского – сразу после ремонта фасада она овдовела, потом город потребовал возврата долгов, и Вера Людвиговна сдала театр внаём. Началась многолетняя тяжба по вопросу о возможности заложения и перезаложения здания театра в Городском банке для покрытия долга. Театр отошёл к внучке Млотковского, та затеяла очередную перестройку, уже не справляясь у Заикиной, можно это делать или нельзя, и результат не замедлил сказаться – финансовый крах встал на пороге незванным, дурно пахнущим гостем.

* * *

– Ну, театр, положим, не закроют, – вслух предположил Алексеев. – В крайнем случае отойдёт под городское управление. Но Заикина-то какова! Вас послушать, Неонила Прокофьевна, так театр всем обязан ей, и только ей!

– Святая, – мамаша перекрестилась. – Бог нашептывал.

– Святая, – поддакнула дочь.

Алексеев не ответил. Олады Неониле Прокофьевне удалось исключительные, а если со сметаной, так и вовсе хоть рта не раскрывай! В смысле, не закрывай. Короче, жуй да помалкивай. Зато мамаша трещала без умолку. С её слов выходило, что на покойнице Заикиной мир стоял, как на черепахе. Сам Алексеев был лишен счастливой возможности ви-

деть Заикину на сцене – когда он впервые посетил город Х, Елизавете Петровне было за семьдесят – но ясно помнил, что никто из здешних театральных деятелей не упоминал при нём актрису-гадалку: хоть в мистическом контексте, хоть в реалистическом.

Ишь ты, фасад нельзя перекраивать!

– Я сейчас уйду, – предупредил он мамашу. – Сразу после завтрака. Выдайте мне ключи, если куда-то собираетесь. Впрочем, выдайте в любом случае, пригодятся. Или у вас нет запасных? Я могу заказать в слесарной мастерской.

– Мы тоже, – откликнулась мамаша.

Реплика прозвучала с загадочным пафосом.

– Что – тоже? Тоже можете заказать ключи?

– Любезный... э-э...

Дочь вжала голову в плечи. Алексеев смотрел на мамашу, раздувшуюся от волнения, как лягушка перед лицом опасности, понимал, чего та ждёт, на какой ответ его вызывает, выталкивает, словно помощник режиссёра – начинающего актёра из-за кулис на сцену. Ладно, решил он. Пускай.

– Константин Сергеевич. Я уже представлялся.

– Ну да, ну да. Любезный Константин Сергеевич, прошу вас!

Чувствуя, как душевное спокойствие, еще недавно парившее на высоте, стремглав летит под гору, будто мальчишка на салазках, Алексеев покорно тащился за мамашей. Широким жестом Неонила Прокофьевна распахнула дверь в ком-

нату, где проживала вместе с дочерью:

– Вот!

В комнате царил погром. Тут и там валялась разбросанная одежда: платья, кофты, юбки, туфли, пара валенок, калоши, шляпки, давно вышедшие из моды. Бесстыдно открытые взгляду, красовались льняные сорочки, корсет, нижняя юбка с обручем из китового уса, лиф с обвисшими шнурками, панталоны – побольше на завязках, поменьше на пуговицах – чулки шерстяные, подвязки, короче, интимные предметы дамского туалета оптом и в розницу. Нарочно, понял Алексеев. Чтобы я увидел. Хорошо, я вижу. Я даже подчеркну, что вижу. Дамы старались, надо подыграть.

Он выпучил глаза и сипло задышал.

– Вот! – мамаша указала на баул, чьё чрево было до половины набито разномастным барахлом. Реплики Неонилы Прокофьевны не отличались разнообразием, как и жесты. – Не извольте беспокоиться!

Алексеев пожал плечами:

– Я, в общем-то, и не беспокоюсь.

– Вот! Сегодня же мы съедем, будьте уверены!

Щётка, подумал Алексеев. Неужели это она переставила мою зубную щётку? Чепуха, ей-то зачем?

– Куда вы съедете? Вам есть куда перебраться?

Он знал, что скажет мамаша. И не удивился, услышав:

– Это не должно вас беспокоить.

– И всё-таки?

– Моя двоюродная сестра живёт за кладбищем.

– Частный дом?

– Одно слово, что дом. Хата, мазанка, колодец на улице.

Муж сестры был против: у них дети, трое, старший летом сыграл свадьбу. Жёну привёл, живот огурцом, в апреле рожать! Ничего, разместимся. Родные люди, не кот начихал! Стану за младенцем ходить, отслужу...

– Родные люди, – эхом откликнулась дочь. – Тётя добрая.

Ненавижу, вздохнул Алексеев. Себя ненавижу, всю эту дрянную ситуацию. И ведь знаю, знаю доподлинно, по какому сценарию разыграна оперетка, каждую ноту могу назвать по имени, и тем не менее – ползу в колее, по обрыдшему рисунку роли. Милосердие? Ерунда, причём здесь милосердие! Она давит из меня сочувствие, как сок из яблока, а я просто не хочу выглядеть сатрапом, жестоким тираном, изгнавшим женщин на мороз. Когда родилась Кира, жена стала звать её Кирой Дарьевной, а меня Дарием Гистасповичем¹⁹ – якобы из-за имени дочери, но я-то знаю, почему на самом деле! Качество остроты сомнительное, зато подтекст ясен, как божий день. Перетерпеть пять минут стыда? Потом – квартира пустая, одной заботой меньше? Нет, пятью минутами я не отделаюсь, я знаю себя, самоеда, я буду вспоминать, терзаться, хотеть всё переменить, переиграть... Позже, не сейчас, в

¹⁹ Дарий, сын Гистаспа – персидский царь из династии Ахеменидов, дальний родственник царя Кира. Жесточайшим образом подавлял восстания против царской власти.

другой раз. Я уеду, оставлю распоряжения, всё случится без меня.

– Ну что же вы, право? Куда вы торопитесь?

– Мы женщины честные, – с достоинством произнесла машина. Она расхаживала по комнате, лавируя между кроватью (одной на двоих, отметил Алексеев), столиком-хромоножкой и грудями жалкого имущества. Руки Неонилы Прокофьевны жили отдельной, особой жизнью: брали, роняли, перекладывали. Без цели, без смысла, а казалось, что с целью и смыслом. – Нас здесь держали из милости. Теперь другое дело, теперь Елизавета Петровна, светлый ангел, в раю, пряники кушает. А наша дороженька...

Она замолчала. Поднесла платок к сухим глазам. Слова «...в самое пекло» повисли в воздухе. Два воздушных шара, больших и чёрных, и один шарик поменьше. Узкий луч софита подбирался к ним, будто спица.

– Успеется, – отмахнулся Алексеев. – Положите вещи на место.

Больше всего на свете он желал прекратить скользкую сцену, задёрнуть занавес и убраться из квартиры прочь. Квартира Заикиной вдруг показалась ему западнёй, ловушкой, из которой следует бежать, от которой следует избавиться, и как можно быстрее. Написать дарственную? Оставить жильё двум несчастным женщинам? Репортёры растащат благодеяние по газетам, мир умилится, вытрет скупую слезу...

Сам не зная, зачем, он толкнул ногой баул, задвинув его

под стол, и наваждение рассеялось. Я деловой человек, сказал себе Алексеев. Меня театром не напугаешь. Да ещё таким пошлым театром! Пусть живут, пока я вступлю в права. Захочу сдать или продать квартиру – велю съехать. И даже не я велю, а доверенное лицо. Поручу брату, Юра местный, ему и приехать не в труд, и связи опять же, знакомства...

– Благодетель! Отец родной!

Приживалки рассыпались в благодарностях, напрочь теряя лицо, столь неумело созданное предыдущей картиной отъезда. Не слушая восхвалений, Алексеев вышел в коридор. В гостиницу, думал он. В гостиницу, сейчас же.

«Не кот, тигра лютая!»

– Прощения просим, нет свободных номеров.

– Как нет?

– Как есть, нет! То есть совсем.

– Ни одного?

– Ни единого!

«Большая Московская», расположенная на углу Клочковской и Купеческого спуска, была не первой гостиницей, в которую Миша пытался поселиться. Вот вам и большая, в сердцах плюнул Клёст, выходя из гостиницы вон. Большая, малая, а мест всё одно нет! Злым волчарой налетел ветер, взвыл, кусая за уши. Втянув голову в плечи, Миша в сотый раз пожалел, что сменил тёплую шапку-ушанку на щегольской котелок. Клёста знобило, трясло. В аптеках, куда он совался, ивовой коры не нашлось. Вместо неё предлагали какое-то патентованное немецкое снадобье по совершенно грабительской цене. При саквояже, полном денег, Миша отказывался: не хотел, чтобы его запомнили богатеньким дурачком. стакан горячего вина с пряностями в трактире, случившемся на пути, помог, но не надолго. Клёст снова отчаянно зяб, глаза слезились от ветра; он ничего не видел сквозь мутные стёклышки пенсне.

– В гостиницу, господин хороший?

Рядом, лихо взвихрив снег из-под полозьев, остановились сани.

– Да.

Миша поперхнулся табачным дымом, закашлялся.

– Так давайте свезу! Недорого возьму.

Даже не спросив цены, Клёст молча полез в сани.

Ехали недолго. Извозчик, сволочь, заломил три гривеника, но Миша заплатил, не торгуясь. Его уже не интересовало, как он выглядит, кем его запомнят. Что за гостиница? «Астраханская»? Оглядевшись, Клёст с тревогой обнаружил: отель стоит на Николаевской площади, аккуратно напротив ограбленного вчера Волжско-Камского банка. Уйти от греха подальше? С другой стороны, кто станет его здесь искать? Может, оно и к лучшему...

Он поднялся по ступенькам, решительно толкнул дверь. Звякнул колокольчик, на Мишу пахнуло блаженным теплом.

– Милости просим, проходите!

Запотевшие стёкла пенсне размазали лицо портье, издевательски окружили его радужным нимбом. Мише почудилось: перед ним – убитый кассир, за безвинную гибель возведённый в ангельский чин. Отправили назад, на грешную землю? Донимать своего убийцу?

Нет уж, донимать – это по части бесов.

– Нумер изволите-с?

Не спеша с ответом, Клёст снял пенсне. Протёр стёклышки носовым платком, закрыл глаза, помассировал веки, во-

дружил пенсне обратно на нос – и лишь теперь взглянул на портье. Кассир? Ничего общего. Ну, кроме волос, старательно напояженных и зализанных на пробор. Чёрные брюки со стрелками, жилетка синего атласа; самоварное золото пуговиц надраено до ослепительного блеска. Портье – румяный парень с рожей прожжённого плута – изогнулся в угодливом полупоклоне.

– Изволю.

– Сей секунд! Как вас записать прикажете?

Портье исчез, возник за стойкой, раскрыл потрёпанную книгу учёта постояльцев. Обмакнул перо в чернильницу.

– Суходольский Михаил Хрисанфович.

– Чиновник? По купеческой линии-с?

– Разъездной торговый агент товарищества «Владимир Алексеев».

Фамилия, имя, отчество – всё было настоящим, как в паспортной книжке. Вдруг в связи с ограблением полиция учит в округе проверку документов? Рисковать Клёст не желал.

– ...Алексеев, – повторил портье, заканчивая писать. – Ну вот, всё в ажуре. Отдельных номеров, к сожалению, нет...

Убью, подумал Миша. Застрелю из «француза».

– ...но могу предложить вам разделить номер с Грищенковым Тимофеем Ивановичем, купцом из Самары. Номер хороший, тёплый, о двух комнатах. Недорогой...

Портье замялся.

– Договаривай, шельмец. Что не так? Грязь? Течёт?!

– Да что вы такое говорите? Нумера у нас отменные, не извольте сомневаться! Другое дело – сосед...

– Что – сосед?

Портье вздохнул:

– Пьющие они. Уж четвёртые сутки как. Гулянки до утра закатывают, прямо в апартаментах. Песни орут, девок требуют, а девки – шампанского. Двух постояльцев спойл, которые подселялись. Но ежели вы не против весёлого времяпровождения...

Он заговорщицки подмигнул Мише.

– Против! Ночью я спать хочу.

– Понимаем. Чай, сами ночью спим.

– Других номеров нет? Без купеческих гулянок?

– Тут такое дело-с...

Портье снова замаялся. Стало ясно: если другие номера и есть, с ними тоже не всё путём. Миша бросил взгляд в окно: у входа стояли сани со знакомым извозчиком. Похоже, Миша был не первым, кого тот привозил в «Астраханскую». Ждал, пройдоха, знал: надолго здесь постоялец не задержится. А тут и мы, значит: куда изволите? С вас три гривеника, господин хороший...

Звякнул колокольчик. Громко топая, отряхивая снег с ботинок, вошёл фраер одних с Мишей лет. Всё совпадало: рост, комплекция, пенсне, густые, рано начавшие сесть волосы...

«Брекекекс! – услышал Клёст. – Чего хочу? Тебя!»

Неприятный холодок вполз за воротник. Клёст ошалело помотал головой, с опозданием уверившись: губ новопривыкший не разжимал. Да что ж это такое?! То убитый кассир, то брекекекс с изюмом! Выспаться, срочно нужно выспаться: без соседей, без гулянок...

– Милости просим! – портье ковровой дорожкой расстелился перед новым гостем. – Нумер извольте-с?

Клёст шагнул к фраеру:

– Любите ночные гулянки? Водка, песни до утра?

От неожиданного вопроса у фраера встопорщились усы, а брови взлетели под самый обрез каракулевой шляпы. Мише такая шляпа совсем бы не помешала.

– Зависит от компании. А вы, никак, предлагаете?

Молодец, отметил Клёст. За словом в карман не лезет.

– Не я, он, – Миша кивнул на портье. – Я-то и сам не любитель.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.